

БОРИС ШИШАЕВ



ВРЕМЯ ЛЮБВИ*

РОМАН

Глава первая

Странно и тяжело складывалась у Велешева жизнь в последнее десятилетие. Много не зависело от него, но во многом он сам, своею волей, направил ее в это странное, неудобное русло.

Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медуниверситета, хирург, выполнивший не одну сотню уникальных операций на сердце, известный не только в своей области и в своей стране, он вдруг уехал из города в родное село, стал жить и работать там.

Вообще-то, конечно, “вдруг” — это только для тех, кто смотрел со стороны, а для него столь крутой поворот был результатом очень нелёгких переживаний, потребовал огромного напряжения всех душевных сил.

Началось с того, что однажды ему позвонили из родного села и сообщили: умерла его мать. Велешев примчался на похороны и был поражен, испытал жуткое потрясение, когда узнал, что мать умерла от длительной и тяжелой болезни сердца, о которой он совсем не знал. Это потрясение вдруг открыло ему, что к сердцу матери он относился совсем по-иному, чем к сердцам людей, коих приходилось ему оперировать.

ШИШАЕВ Борис Михайлович родился в 1946 году в Рязанской области. Автор нескольких сборников стихов и книг прозы. Повести и романы печатались в журналах “Наш современник”, “Новый мир”, “Москва”, “Нева”, “Подъём” и многих других. Член Союза писателей России. Живёт в пос. Сынтул Рязанской области.

* Журнальный вариант.

Там, на операционном столе, сердце было для него попросту органом, одной из главных деталей человеческого организма, которую требовалось “отремонтировать” так, чтобы она могла работать дальше.

А сердце матери воспринималось Велешевым как источник удивительного, необъяснимого тепла, которое он ощущал даже на огромном расстоянии, которое помогало ему жить, согревало его и придавало сил в самые тяжелые периоды жизни. Как спешил он, бывало, к матери, с каким трепетом входил в родной дом... А когда обнимал ее у порога, то казалось, будто исходит из материнского сердца еще и свет — тихий, неяркий, но свободно проникающий в него, Велешева, мягко врачующий, наполняющий все его существо уверенной радостью бытия. И как легко, устремленно жилось и работалось потом с этим врачующим светом в душе...

И, увлеченный “срочным ремонтом” чужих сердец, занятиями со студентами, писанием научных трудов, участием во всевозможных конференциях, симпозиумах и совещаниях, он как-то даже почти и не брал во внимание того, что материнское сердце тоже может износиться и требовать “срочного ремонта”. И когда этот источник тепла и света, питающий, поддерживающий его душу, иссяк совсем, то Велешев ужаснулся самому себе. Ужаснулся тому, что спасая чью-то сердца, упустил, не смог спасти самое дорогое — материнское, благодаря которому у него, может, и шло-то все столь успешно. Ужаснулся и тому, как решительно, бесцеремонно и бестрепетно вторгнулся он в чужие сердца. Вторгнулся в них, видя перед собой лишь комок человеческой плоти, производя необходимые манипуляции над его венами, узлами или клапанами и вряд ли отдавая себе по-настоящему отчет в том, что это ведь тоже источник удивительного тепла и света, поддерживающий чью-то душу, да, возможно, и не одну...

С содроганием думал он теперь и о своем собственном сердце. Светит ли оно кому-нибудь, как светило ему, Велешеву, материнское, греет ли кого-нибудь так же — ну хотя бы жену? И вдруг он твердо, с ожесточением решил, что операций на сердце делать больше не будет.

Жена сразу же после поминок уехала обратно в город — она была директором школы, и утром ее ждали на работе неотложные дела. А Велешев остался. Пока женщины мыли посуду, прибирались в доме, он сидел на скамейке во дворе. Была тогда вторая половина мая, цвело все кругом. И это буйное цветение, это празднество обновления природы не утоляло душевную боль, а, наоборот, — усиливало ее настолько, что Велешеву хотелось закричать на всю округу истошным диким криком.

Когда в доме никого кроме сестры не осталось, он пошел туда, сел в передней комнате на диван и застыл, сгорбившись, опершись локтями о колени. Сестра окончательно управилась с делами, подошла и осторожно примостилась рядом.

— Может, остаться мне тут с тобой? — спросила она. — Плохо ведь одному-то.

— Ничего, — ответил он. — Не беспокойся. У тебя там своих дел невпроворот.

— Ну ладно. Утром приду, покормлю тебя.

Сестра ушла в свой дом, а вернувшись утром, застала его на том же месте и в той же позе.

— Господи... — остоленела она. — Ты что — или совсем не ложишься?

— Не ложишься, — хрипло ответил Велешев.

— Так и сидел всю ночь?

— Так и сидел.

Не произнося больше ни слова, она тихонько погладила его по голове и вдруг, обхватив ее руками, прижав к себе, заплакала.

Потом ей кое-как удалось уговорить его поесть. Велешев для виду покосился вилкой в тарелке, выпил чашку крепчайшего кофе и решительно поднялся из-за стола.

— Пойду-ка я в больницу схожу — гляну, какие там дела.

Антонина принялась было уговаривать его поспать хоть немного, а потом вдруг согласилась:

— А вообще-то сходи, Паша, глянь. Плоховато у нас там.

В больнице Велешева встретила детский врач Вера Гавриловна. Она была местная, знала его с детства и, уведомленная о приходе знаменитого хирурга медсестрой, выбежала в коридор, провела гостя в свой крохотный кабинетик. Выразив ему соболезнование, посочувствовав осторожно и не находя больше слов, не зная, зачем он пожаловал, Вера Гавриловна зарделась до корней волос.

— Как у вас тут дела? — спросил Велешев. — Зашел... Вдруг, думаю, нужна какая-нибудь помощь...

И ее словно прорвало — едва ль не со слезами на глазах, поминутно вскакивая и теребя дрожащими пальцами свой халат на груди, Вера Гавриловна начала рассказывать, какие непомерные трудности свалились на нее. Ей приходилось исполнять обязанности заведующей больницей, поскольку прежняя заведующая, терапевт, уехала жить куда-то в другое место.

— Я же детский врач, поймите, Павел Андреевич! — с отчаянием сложила она у себя под горлом ладони. — Ну, прием и взрослых, и детей, лечение стационарных больных, вызовы на дом — это всё еще как-то можно выдерживать, но долго ли выдержишь? И может ли быть лечение хоть сколько-нибудь полноценным при такой вистопляске? А ведь на мне плюс к тому ответственность за больничное хозяйство. Вы гляньте — штукатурка со стен отваливается кусками — нужен ремонт. Никого не допросишься, никто ничего не дает, продукты для больных кое-какие. Машина разваливается на глазах — она у нас обыкновенный “козел”, сложных больных приходится транспортировать сидя... Разве так можно? Поговаривают, что больницу лучше закрыть, но кому от этого будет лучше-то? Ради Бога... Павел Андреевич... если можете...

И она заплакала теперь уже по-настоящему.

— Успокойся, Вера, не надо, — погладил ее по плечу Велешев. — Я скоро вернусь сюда. Что-нибудь придумаем.

— Ради Бога, Павел Андреевич...

Глава вторая

В городе Велешев сразу же устремился в клиническую больницу, где он работал, и, войдя в кабинет главного врача, своего давнего приятеля, решительно усевшись в кресло перед его письменным столом, сказал:

— Сережа, давай-ка отпускаяй меня. Мне нужно три месяца. Пока три, а там видно будет.

— Да ты что! — вскочил тот. — Или не знаешь, как тут без тебя? Даже не думай...

— Уже подумал. Я тут усердствовал так, что проморгал сердце собственной матери. Поэтому... — Велешев поднял на него проясневший мгновенно пронзительно-холодный взгляд, — мне надо, Сережа. Мне надо, и точка.

Глаза у Велешева были серые, с зеленоватым оттенком, и чаще всего имели доброе задумчивое выражение. Но иногда, в аховые моменты, его взгляд становился вдруг невыразимо ясным, холодным и пронизывающим, что называется, до костей. Однажды кто-то из коллег назвал этот его взгляд волчьим — была, мол, вчера по телевизору передача про волков, и там один матерый волчище смотрел абсолютно точно так же, — ну один к одному! — как смотрит Велешев, если ему что-то не по нутру. Во время сложных операций, да и в других сложных ситуациях от этого велешевского взгляда некоторым становилось настолько не по себе, что люди даже цепенели. Не раз случалось такое и с самим главным врачом. Оцепенел он под прицелом ясного “волчьего” взгляда Велешева и на сей раз.

— Ну... вообще-то... Вообще-то, конечно, понятно, Паша. Прости меня. Эти наши проклятые дела уже не только глаза, но, похоже, и душу стали залеплять. Прости, брат. Собираешься куда-нибудь отдохнуть, в себя прийти?

— Собираюсь туда, к себе. Там больницу надо поднять. А то не больница, а жуть какая-то. Ты... если что... помоги уж чем сможешь.

— Да ведь знаешь же, как у самих у нас тут. Конечно, чем смогу... Только уж долго-то не задерживайся.

— Ты, наверно, забыл, что у меня два неиспользованных отпуска. Я же сказал: три месяца, а там видно будет.

В медуниверситете удалось договориться довольно легко — совсем немного оставалось до летних каникул.

Потом Велешев наведился в областное управление здравоохранения, с руководителем которого у него тоже были весьма теплые отношения.

— Слыхал, слыхал, Андреич... — со вздохом поднялся тот навстречу из-за стола. — Прими мои соболезнования. Сочувствую от всего сердца, потому что хорошо знаю, каково это. Самому недавно довелось через такое пройти. Нужна какая-нибудь помощь?

— Нужна.

Велешев обсказал ему свое решение и попросил:

— Ты, Георгий Семенович, позвони туда, в район — пусть берут меня временно главврачом нашей Пореченской больницы. Ну и... я ведь никогда ни о чем не просил, а теперь... Короче — не отказывай ради Бога. Выдели туда спецмашину — хотя бы не новую, которая могла бы еще поработать. Там тяжелых больных приходится доставлять на задрипанном “козле”. Ну представь себе: человек с каким-нибудь острым аппендицитом — и трясут его в этом “козле” в сидячем положении, согнутого в три погибели. Да еще, не дай Бог, развалится “козел” среди дороги. И насчет ремонта больницы, насчет всего остального тоже... чем можешь. Очень прошу. Понимаешь... крайне важно... для сердца...

— Господи... — поморщился Георгий Семенович, словно от зубной боли. — Тебе ли объяснять, как у нас нынче с финансами, со всем прочим. Ну да ладно, что-либо придумаем, коль уж так тебя припекло. Чувствую, Андреич. Понимаю. Относительно машины... Тут, кажись, как раз подходящая ситуация. Три штуки на днях должны прийти, но... Ты вот что — сходи в областную администрацию к Раменцову, попроси одну из машин переадресовать к вам туда. Тебе он вряд ли откажет.

Велешев сходил к Раменцову, и тот, хоть и помялся, повздыхал изрядно, да еще и посоветоваться куда-то отлучался из кабинета, однако все же не отказал.

Вечером Велешев объявил о своем решении жене. И сказал, что уезжает в Поречье завтра же. Людмила, расширив глаза, несколько мгновений немо смотрела на него, а потом словно бы сжалась вся и, медленно опустившись на стул, произнесла почти шепотом:

— Надо же — он всё обдумал, всё решил, всё подготовил, а я узнаю об этом в последнюю очередь. Ты что же — оставляешь меня одну?

— Почему одну? Впереди лето — будешь приезжать ко мне туда. Там хорошо можно отдохнуть. Рядом вода, лес, в котором грибы, ягоды... Да и я стану сюда навещать — предвижу, что многие проблемы придется решать именно здесь. А ты в Поречье хоть отдохнешь по-человечески...

— Да какой мне отдых... Школу надо готовить к новому учебному году, там прорва всяких дел. Впрочем, что тут говорить — ты всегда все решал так, как нужней и удобней тебе.

— Ну уж это ты, по-моему, слишком...

— Никакого лишку, Павел. Я понимаю — тебя потрясла смерть матери, тебе желается хоть как-то загладить свое вынужденное невнимание к ней, хоть чем-то заглушить свою боль, но... Господи, до чего же надоело это самое “но”, которое всегда стояло и стоит между нами...

Детей у них не было. Единственного ребенка Людмила родила мертвым с помощью тяжелой операции, и больше рожать ей стало нельзя. До нее Велешев был пять лет женат на женщине, которую очень любил и которая страшно предала его. Страшным, диким это предательство казалось ему потому, что она тоже любила его. Любила сильно — как сама призналась после, никто никогда не был ей настолько дорог, но вот почему-то вдруг взяла да и осквернила, растоптала эту большую любовь.

Велешев потом жутко мучался. “С какой стати? Почему? За что?” — без конца спрашивал он себя. Но, пожалуй, и до сих пор не нашел ответа

на эти вопросы. И на Людмиле он женился, чтобы хоть как-то защититься от постоянной душевной боли. Вроде бы помогло — боль постепенно поутихла, лишь временами оживала где-то в самой глубине души тонким пронзительным нытьем.

Любил ли он Людмилу? Она была близким, родным человеком, таким же, как мать, как сестра, она заботилась о нем, помогала ему чем могла. Годы совместной жизни спаяли их в единое целое — разве такое возможно без любви? Может, конечно, эта любовь была совсем иного рода, чем та, первая, но ведь тоже любовь — как же еще назовешь? И родные, и друзья иногда этак вскользь намекали Велешеву, что Людмила его очень любит. Они будто бы подчеркивали это со смыслом: мол, сам-то ты не слишком отвечаешь ей тем же. Но он лишь недоуменно пожимал плечами: есть в душе тепло родства, есть постоянное чувство благодарности Людмиле, даже гордости ею, обеспечивающей ему столь крепкий тыл — чем же еще-то отвечать?

И вот вдруг Людмила заявила, что ей надоело это “но”, которое всегда стояло и стоит между ними...

Велешев и тут тоже пожал плечами. И утром уехал в Поречье.

Главврачом Пореченской больницы его без задержки и с благоговением перед заслугами утвердили, предполагая, что это не более чем временная блажь известного и привыкшего к почестям человека, и он с невероятной энергией, исключаяющей малейшее промедление, взялся за дело. Понимал, что железо надо ковать, пока горячо.

И “ковка” превзошла всякие ожидания. Через неделю больничный водитель пригнал из области совсем новый, специально оборудованный “УАЗ”, а вскоре начался и ремонт больницы. И областное ведомство здравоохранения кое-чем помогло, и районные власти подключились довольно плотно — нельзя же отказать такому человеку, — и кое-кто из богатых предпринимателей, с которыми знаком был Велешев в областном центре, оказали весьма ощутимую помощь.

За лето больница была настолько преобразена, что ее нельзя стало узнать. Даже любовались все — как внешним видом, так и внутренней отделкой, удобствами, которые появились и в палатах, и в кабинетах обслуживания больных, и в других-прочих служебных помещениях. К тому же неустанными стараниями Велешева к больнице была сделана пристройка, которая стала чем-то вроде хирургического отделения, где имелось все для того, чтобы успешно выполнять простейшие операции. Удалось завезти немало нового оборудования, на довольно длительное время обеспечить больницу лекарственными препаратами экстренного применения.

Жил Велешев в материнском доме, который тоже удалось подремонтировать. Вставал он с рассветом и спать ложился не раньше полуночи — много читал, освежая знания терапии и общей хирургии. Вечер делился у него на две части: сначала подкрепление врачебной наукой, а потом чтение для души. Он всегда любил истинную, глубокую литературу — смолоду она была для него главной отдушиной, чем-то вроде второй страсти. В последнее время почему-то особенно тянуло к русской классике.

Занимаясь ремонтом больницы, Велешев и врачебные свои обязанности старался выполнять безупречно. Приходилось, правда, нередко отлучаться. То приезжали из клиники и увозили его на консультацию — тут уж никак нельзя было отказать, — то сам он ехал в какую-либо организацию или ведомство, чтобы ликвидировать задержки в строительных и прочих больничных делах. В таких случаях его подменяла Вера Гавриловна, а в остальное время Велешев и прием больных вел сам, и на вызовы ездил — как в своем селе, так и в близлежащие населенные пункты, и лечебный процесс в стационаре как-то умудрялся поддерживать на более-менее должном уровне.

И, проворачивая такую уйму дел, Велешев почему-то даже и не ощущал усталости. Скорее, наоборот, — от этих нескончаемых насущных забот он испытывал какой-то небывалый подъем духа. У него словно бы прибывало сил от постоянного общения с простыми людьми, от врачевания больных обычными испытанными методами. Во время утреннего обхода больничных палат Велешев разговаривал с их обитателями с неизменной веселостью,

с шуточками, назначения делал решительно и за считанные минуты успевал даже тяжелому хроникеру внушить такую веру в выздоровление, что уже на третий день человеку становилось лучше.

Раньше людей с травмами, требовавшими даже пустячного хирургического вмешательства, оказав им первую помощь, немедленно, а иногда и с вынужденной задержкой, отправляли в райцентр. Теперь же с обретением пристройки и появлением в ней необходимого инструментария и прочих лечебных средств Велешев сам старался справляться со всем, что можно было выполнить, не прибегая к рентгену, без обезболивания или с помощью местной анестезии. Он штопал рваные и резаные раны, вскрывал гнойники, вправлял вывихи, успел даже ушить три грыжи и удалить два остро воспаленных аппендикса. Чувствовал, что с каждым разом получается у него все точнее, удачнее, и хорошо, светло было на душе от этого.

Людмила приезжала к нему. В середине лета им даже удалось пожить недели две вместе — покупаться в реке, сходить несколько раз за грибами. В каждый свой приезд она привозила хороших городских продуктов, да и вообще старалась обеспечить его всем, чего не хватало для обихода в сельском доме. Обязательно что-либо передвигала, переставляла для лучшего удобства, наводила идеальный порядок.

Он больше не слышал от нее ни малейшего упрека, отношения у них были ровные, теплые, но Велешев чувствовал, что жена, как сжалась в тот раз, когда он объявил ей о своем решении уехать в Поречье, так сжатой внутренне и осталась. Словно тщательно прятала в себе какую-то боль. Никто другой наверняка этого не замечал, а Велешеву было заметно, и порой Людмила тайная боль молниеносным импульсом передавалась ему, на несколько мгновений затмевала душу тревогой. Однако, опасаясь осложнений, он ничего не предпринимал. Да и не знал, что тут можно предпринять.

Глава третья

Новая работа настолько захватила Велешева, что он даже и не заметил, как наступил сентябрь. Опомниться его заставил телефонный звонок Болотина, главврача областной кардиологической клиники.

— Ты сколько же еще там будешь торчать? — напряженным тоном спросил Болотин. — У студентов занятия начались, ректор мне все телефоны оборвал — тебя разыскивает...

— Уже начались? — растерянно спросил Велешев.

— Да вот представь себе, — едко усмехнулся главврач, — решили все-таки начать без тебя — как всегда, с первого сентября. Так что давай-ка пошевеливайся. Кончились все твои отпуска. Да и больницу-то, говорят, вывел там в передовые. Хватит, чего же тебе еще?

Велешев помолчал немного и ответил:

— Я остаюсь тут, Сережа.

— Как это остаешься? Что за блажь, в самом деле? Ты же, в конце концов, у нас на работе-то числишься.

— Освободить не долго. Вот и давай освобождай.

— Да ты-т... Это же черт знает что! Спятил, что ли?

— Другого решения не будет, Сережа, — сказал Велешев. — Я знаю, что меня трудно понять. Но ты постарайся — очень прошу.

После этого разговора Велешев сразу же поехал к главному врачу района. Тот принял его, как всегда, очень радушно, предложил коньяку. Велешев не отказался и, выпив рюмку, почти сразу же почувствовал, как отпускают нервы. Когда он сказал, что решил остаться на работе в Поречье, главный врач от растерянности раскрыл рот и даже слегка порозовел.

— Вы не беспокойтесь, Валерий Николаевич, — продолжал Велешев, — меня устраивает только эта работа, и ни на какое другое место я метить не собираюсь. На ваше в том числе.

— Ну зачем вы так, Павел Андреевич? — обрел тот, наконец, дар речи. — Я и в уме не веду... Просто... ошарашили, конечно. Вы — и вдруг...

— Тут... как бы вам поясней... Короче — дело сугубо душевное. Вы ведь знаете — у меня мать умерла от обширного инфаркта. И после этого... заниматься прежней работой я больше не могу.

— Понятно... Но ведь... не отпустят же вас отсюда. Разве можно, чтоб вы — и вдруг... И на меня давить начнут со страшной силой — не вздумай, дескать, принять. Начнут ведь...

— Насчет того, чтоб отпустили, это моя забота. А если отпустят, то и давить на вас не станет никто. Мне нужно ваше согласие. Опытный кардиохирург в районе, думаю, ведь не помешает. Консультативную помощь обещаю — это в любое время. Да и связи у меня кое-какие имеются — годятся для общей пользы.

— Да конечно, до небес будем рады. Вы только постарайтесь уладить там. Вообще-то, Павел Андреевич... честно говоря... в самом деле в голове не укладывается.

— Постарайтесь уложить. Значит, договорились?

— Да ради Бога. Только поймите вы мое замешательство правильно.

— Уже понял.

На другой день, завершив утренний обход стационарных больных, Велешев собрался ехать в областной город, чтобы вести переговоры об освобождении его от работы там. Легкими они быть не обещали — от этого предчувствия нет-нет да и сжималось тревожно сердце. И только было он вышел на больничный двор, как увидел, въезжающую в распахнутые ворота белую “Волгу”. И сразу же разглядел за ветровым стеклом рядом с водителем лицо Георгия Семеновича, главы областного ведомства здравоохранения. Следом за ним выбрались из машины Болотин и сам ректор медуниверситета, довольно уже пожилой человек.

И при виде их Велешева просквозила вдруг какая-то непонятная радость — он даже улыбнулся во все лицо. “Ничего, — подумалось, — уж тут-то мы как-нибудь за себя постоим”.

Увидев его неподдельно радостную улыбку, они тоже как-то сразу отмякли все. Здоровались душевно — трясли подолгу руку, хлопали по-свойски по плечам.

— Ну, давай веди, — с начальственным благодушием загудел Георгий Семенович, — показывай, чего ты тут натворил.

— Покажу, все покажу, — продолжал улыбаться Велешев. — Только погодите одну минутку.

Он подошел к своему водителю, который стоял у больничной машины наготове, и, незаметно сунув ему деньги, велел купить у мужиков хорошей рыбы утреннего улова, а в магазине коньяку и вина.

— И скажи поварихам, чтоб уху сготовили по высшему разряду, организовали приличный стол.

Водитель понимающе кивнул — такие дела ему были хорошо знакомы.

Осмотром больницы гости не только остались довольны, но даже и удивления своего, восхищения не могли скрыть. Когда потом сидели за ухой, то бурно делились впечатлениями, поглядывая на Велешева, пораженно хмыкали.

— Да-а, брат, — качая головой, сказал глава областного отдела здравоохранения, — развернул ты здесь все на полную катушку... Везде бы да всем бы так. Будем людей сюда привозить за опытом. Спасибо тебе. Понимаю, как ково расставаться с этим, но... пора, наверно, все-таки от новых ворот делать поворот в обратную сторону. Думаю, не стоит объяснять, сколько там от тебя зависит...

— А кто подсчитал, — усмехнулся Велешев, — что здесь от меня зависит меньше?

— Ну, знаешь...

— Знаю, — выпрямившись за столом, Велешев поочередно оглядел их проникающим ясным взглядом, похожим на волчий. — Абсолютно точно знаю, что скажет каждый из вас. Знаю, что по-своему будете на сто процентов правы. А вы не качайте правоту, — его взгляд опять стал мягким и даже каким-то трогательным, — вы постарайтесь понять. Постарайтесь, мужи-

ки, братцы вы мои... Ведь мы же все страшно очерствели. Мы же бесчувственными идолами, холодными автоматами стали на своих должностях, кафедрах, возле операционных столов... Ну, чего я стою со всеми моими степенями и регалиями, если без конца вторгаюсь в область чьего-то сердца, но не смог уберечь сердце собственной матери? Это же ведь оно дало мне жизнь и согревало меня в жизни. Я забыл и про свое собственное сердце, а оно забыло обо мне. Оно взаперти, в клетке. А я хочу его освободить. Хочу жить, как оно велит, хочу идти туда, куда оно ведет — ясно вам? Ведь пройдена уже бóльшая часть пути... И... не трогайте вы меня. Если хотите помочь, то помогите вот этим самым — не трогайте.

Некоторое время сидели все молча, избегая смотреть друг на друга. Потом ректор вздохнул и сказал:

— Я понимаю. Со мной тоже было нечто подобное. — Достав носовой платок, он медленно высморкался. — Но со студентами-то, Павел Андреевич... Может, хотя бы раз в неделю. Машину за тобой будем присылать.

И Болотин, и Георгий Семенович удивленно воззрились на ректора.

— Ну что вы на меня уставились, как на Иуду? — невесело усмехнулся тот. — Да, вместе с вами был полон решимости скрутить его, бросить в машину, водворить на законное место... Но вот глянул — и в самом деле... неужели мы не в состоянии понять?

— Конечно, не оставлю я студентов так вот сразу, — сказал Велешев. — Буду выкраивать время. Но машину за мной, в самом деле, постарайтесь присылать. Сам я, как вам известно, “безлошадный” всю жизнь, а нашу больничную гонять... бензин, сами знаете, сколько нынче стоит. И ты, Сережа, не беспокойся. Потребуется моя помощь — присылай за мной. Но я думаю, что ваша нужда во мне долго не продлится. Есть же кому заменить — хватит, в конце концов, маячить им за моей спиной.

— Не-ет, брат... — сокрушенно покачал головой Георгий Семенович, — в здоровую голову подобные вещи не полезут. Похоже, ты крепко чокнутый. Губить на корню такую карьеру...

— А мне кажется, — сосредоточенно глядя перед собой, ответил Велешев, — что я как раз пытаюсь восстановить свою карьеру.

— Ну, а на предательство это не похоже? — вскинул на него глаза Болотин. — Как ты, Паша, о таком ракурсе думаешь?

— Похоже. Вся моя жизнь похожа на предательство, только не на то, какое ты имеешь в виду. Я вдруг понял, что долгое время предавал забвению свою душу. А теперь хочу хоть как-то искупить вину за это предательство — пытаюсь научиться жить не только доведенным до автоматизма умом, но и душой. Думаю, что есть еще время... Да, собственно, я уже говорил об этом.

Велешев остался в Поречье.

Глава четвертая

С Людмилой на этот раз ему удалось все утрясти неожиданно легко.

— Да я с самого начала поняла, что останешься, — улыбнулась она без малейшего напряжения. — Слава Богу, знаю тебя не первый год. Но мне, Паша, вряд ли сумеешь так легко бросить то, к чему прикипела душой.

— Откуда ты взяла, что мне это далось легко?

— Наверно, я не так выразилась. У меня просто не хватит силы на такое... на такой резкий и крутой поворот. Нужно время — хотя бы год, чтобы понемногу привыкнуть к мысли о расставании со школой, где помню, когда и для чего был вбит каждый гвоздь, с ребятами, в которых вкладывала столько душевного, с учителями, среди которых нет у меня ни единого недруга... Да и человека на свое место должна же я как-то подготовить. Так что... — подняв глаза, глянула она на него робким и даже виноватым каким-то взглядом, — хоть и нельзя нарушать старое правило “куда иглолка, туда и нитка”, но тут, Паша... вряд ли нитке удастся сразу попасть в игольное ушко.

— Да кто ж тебя заставляет сразу? Неужели считаешь, что не понимаю?
— Но ведь нелегко тебе тут одному...
— Почему одному? Ты же вот приезжаешь.
— Боюсь, что не удастся приезжать так часто, как летом.
— Как получится. И не напрягайся. Меня же в больнице кормят. А к следующей осени подыщу тебе где-нибудь тут работу.

— Я думала... обидишься.
— Господи... — оторопел Велешев. — Я думал — ты обидишься.
Он сгреб Людмилу, и стал целовать ее щеки, лоб, волосы.
— Людка, дружище. Наверно, никто никогда не понимал меня лучше, чем ты.

— Да ты этого раньше вроде бы и не замечал... — освобождаясь от его рук и глядя ему в лицо, улыбнулась она сквозь слезы.

Это были счастливые слезы.

И Велешев с неослабевающим вдохновением продолжал работать в сельской больнице, а Людмила всеми силами старалась приезжать к нему не реже, чем в две недели раз. И по-прежнему волокла она с собой сумки, набитые чем-либо необходимым. Когда трудно было с билетами на автобус, добиралась на попутных машинах — иногда с пересадками, подолгу голосуя где-нибудь на полпути.

И как бы ни выматывала Людмилу нервная школьная работа, с какими бы дорожными трудностями ни были сопряжены приезды в Поречье, лицо ее во время каждой их встречи сияло таким радостным светом, что Велешев, сразу же проникаясь этим светом, обнимал жену порывисто и по медвежьи мял ее своими жесткими хирургическими руками.

Наверно, только теперь стало ему по-настоящему открываться, как сильно любит его Людмила, и, пожалуй, впервые за годы их совместной жизни он ощущал в себе вполне осознанное желание отвечать ей тем же.

Переехать к Велешеву совсем Людмила смогла лишь через два года. Она стала преподавать историю и заведовать учебной частью в Пореченской школе, и приживление к новому месту, вопреки опасениям, протекало у нее легко, с какой-то даже вдохновенной радостью, сродни той, которою испытывал от крутой перемены своей жизни Велешев.

Людмила с удовольствием вникала во все тонкости сельского быта, в котором для нее было много непривычного, и неустанно, шаг за шагом, совершенствовала домашнее хозяйство. В результате ее мягкого, но упорного давления на Велешева в дом были проведены вода и природный газ, печное отопление сменилось на газовое, которое даже в самую холодную погоду могло нагнать в комнату тепла за несколько минут.

Выросшая в городе, Людмила никогда не работала с землей, не знала, как и что сажают и сеют на огороде. А тут вдруг с помощью Антонины, сестры Велешева, освоила все это за одну весну.

— Странное дело, Паша... — сказала однажды Людмила. — Если бы лет пять назад кто-либо заявил мне, что я буду жить вот здесь и вот так, то скорее всего сочла бы его сумасшедшим. А теперь... никому и ни за что не заставить меня переменить эту жизнь на какую-нибудь другую. Хочу жить только так, как мы с тобой сейчас живем. Это, наверно... тебе спасибо.

— И тебе тоже, — ответил Велешев.

Он и сам теперь нередко удивлялся себе. Тот, прежний, Велешев казался ему порой очень далеким и почти чужим. Как, например, мог он прожить столько лет в отрыве от этой вот родной природы, умеющей незаметно согреть, наполнять душу волнующим смыслом? Однажды ему вспомнилось вдруг одно признание Толстого — кажется, откуда-то из дневников, — что музыку он, Лев Николаевич, любит почти физически. Помнится, когда читал об этом, то пожал плечами: как так — “почти физически”? А теперь понял, как, поскольку нечто такое же испытывал зачастую ко всему природному, что его окружало.

Иной раз, привалившись спиной к теплому стволу старого дуба у обрыва над рекой, несущей свои воды с потаенной уверенной силой, или спускаясь в уютный, одетый яркой плотной травой овраг, с пологих склонов которого,

упрямо выгибаясь, тянулись к небу гладкоствольные, с кронами сверху, березы, или шагая по широкому, слегка всхолмленному полю к двум кряжистым разлапистым соснам, стоящим в центре его с незапамятных времен, Велешев ощущал вдруг в себе именно то, о чем сказал Толстой. Не просто душевное расположение, приятную тягу ко всему этому, а любовь, пронизывающую от волос и до пят, — именно физическую любовь.

И после прострела такой любовью возникало удивительное, поднимающее душу к горлу чувство родства со всем сущим, проскальзывала какая-то подсознательная радостная уверенность, что смерти нет.

Глава пятая

И на таком-то вот подъеме, когда и у него, и у Людмилы словно бы открылось для жизни второе, более глубокое, дыхание, смерть вдруг опять решительно заявила, что она есть.

Случилось неожиданно, как удар молнии. Собирались утром на работу, и Людмила уже стояла с сумочкой у двери — она любила приходить в школу пораньше, за час до занятий. Велешев поправлял перед зеркалом галстук и вдруг услышал сдавленный крик жены. Обернувшись, он увидел, что Людмила падает, глядя на него широко раскрытыми глазами, судорожно цепляясь за дверной косяк. Велешев бросился к ней, успел подхватить, осторожно опустил на пол. Он рванул на жене блузку, обнажив грудь, приник к ней ухом. Сердце не работало. Велешев рванулся было к телефону, но тут же испугался, что может упустить время, и начал делать Людмиле массаж сердца. Несколько раз он опять приникал ухом к ее груди, но все было тщетно.

А потом Велешев сидел на полу возле жены, уткнувшись лицом в ладони, сложенные на коленях, — его словно бы сковало в этой позе. Долго звонил телефон, а через какое-то время резанул тишину в доме уже дверной звонок, но Велешев даже не пошевелился, будто и сам он умер да так и остался сидеть.

Ворота были не заперты и, не дождавшись ответа на звонок, больничный шофер вошел и остоленел от всей этой картины.

Причиной столь неожиданной смерти Людмилы оказался разрыв сердца.

На похороны съехалось множество народу — беда Велешева всколыхнула, заставила вспомнить о нем его прежних соратников, друзей, знакомых, да и у Людмилы таковых было немало. Не могло остаться в стороне и руководство — как областное, так и районное. И сельский люд, успевший за несколько лет проникнуться истинным уважением к Велешеву и его жене, стекался отовсюду. Людмилу отпевали в Пореченской церкви, и гроб с ее телом несли туда мужики через все село на плечах, сменяя друг друга.

Велешеву легче было уйти в себя среди этой огромной толпы — сдержанный шум движений и разговоров, похожий на шелест листвы в осеннем лесу, словно бы окутывал его, помогал душевному отрешению. К нему подходили, улучив момент, выражали соболезнование приличествующим обстановке тоном, утешительно сжимали предплечье, успокоительно мяти в руках его ладонь — дескать, куда ж денешься, надо вынести это горе, надо держаться. А он лишь кивал в ответ автоматически, а когда поднимал на говорившего глаза, того брала оторопь от его ясного, похожего на волчий, взгляда, на сей раз обращенного как бы внутрь себя.

Поминки проходили в школе — лишь ее спортивный зал смог вместить в себя всех приехавших и здешних близких. В память о Людмиле говорилось много хороших трогательных слов, от которых у людей влажнели глаза. Некоторые, все еще не в силах успокоиться после кладбища, судорожно всхлипывали и здесь. А Велешев за время похорон не проронил ни единой слезы — там, где скапливаются слезы, у него было сухо, как в пустыне.

На поминках почти каждый счел своим долгом поддержать его, утешить, как можно бодрей, — дескать, и думать не смей, что ты теперь один. Гляди, сколько нас, друзей, и разве мы оставим тебя, в любой трудный момент будем рядом, только позови... Велешев и тут согласно кивал, глядя перед

собой, но в какой-то момент, подняв голову, окинул вдруг присутствующих таким взглядом, будто видел их впервые и недоумевал, откуда и зачем собрался здесь этот народ...

Когда разошлись, разбегались все, и осталась с ним только сестра Антонина, Велешеву вроде бы несколько легче стало в обступившей его тишине. Но потом сестра ушла к себе домой, и у него появилось ощущение, будто он абсолютно один на огромном пространстве земли. Велешев пытался сбить это шемящее душу ощущение, начинал думать о том, что кругом люди, много людей, что и друзей у него много, и в самом деле они в любой момент придут на помощь — стоит только позвать... Но тут же и сознавал: у каждого свои дела, свои заботы и нужды, а если кто и отвлечется от этих забот и нужд во имя дружеского долга, то после его посещения и отъезда лишь усилится чувство, что ты один, абсолютно и неотвратимо один...

Село было окружено земными впадинами, которые когда-то давно были прорезаны тальми водами, сбегаящими в реку. Со временем обрывистые берега овражных впадин сгладились, стали пологими, на них вымахали деревья, и все это придавало местности какую-то особую — диковатую и таинственную красоту. Велешев хорошо помнил, как в пору его детства тут, в крутых срезках обрывов, гнездились стрижи и ласточки — в земляных стенах зияло множество проделанных ими нор, в глубине которых эти юркие птицы устраивали свои гнезда.

И норы располагались на такой линии обрывов, где их нельзя было достать ни сверху, ни снизу. А теперь Велешев спокойно спускался здесь по тропе, блуждающей меж высоких берез, осин и черемух, и так же, без особых усилий, восходил на противоположную сторону.

И думалось ему о том, насколько же быстро меняется все в земной природной жизни — каких-то сорока лет, пролетевших незаметно, хватило, чтобы огромный голый шрам на теле земли превратился в живописную впадину, где умиротворяют, врачуют сердце самозабвенное пение птиц, сочная зелень деревьев и буйное разноцветье трав... А в человеческой жизни? Тот шрам, который сейчас в душе, — разве сгладится он когда-нибудь? Разве так же, как эта уютная красивая лощина вместо голого оврага, образуется на месте душевного шрама что-то утешающее, умиротворяющее и возвышающее? Может, со временем и сгладится, и боль приугаснет, но ждать чего-либо лучшего, наверное, попросту глупо...

Здесь, на безлюдной природе, сердце Велешева с какой-то особой жадностью впитывало в себя все, что было сотворено и продолжало твориться вне воли человека одной лишь волею небес. Он с наслаждением наблюдал, как по-разному отзываются на дуновение ветра деревья, словно бы невольно выдавая, что в каждом из них таится нечто свое, сокровенное. Следил за полетом птиц и, усмехаясь самому себе, качая головой, думал с невесть откуда взявшейся детской наивностью: а как же, наверно, это здорово — лететь в вышине над всем, что внизу, смотреть на все, а потом взять да и сесть, где тебе захочется...

В такие моменты ему становилось намного легче. Иной раз даже казалось, будто он тут свой всему, будто этот мир — травяной, древесный, лиственный, проникнутый птичьей разноголосицей и увенчанный утренней чистой небесной синевой — незаметно слился с его, велешевской, одинокой больной душой, и уже не придется испытывать ни такой боли, ни мучительного чувства одиночества.

Тропа, по которой больше всего любил ходить утром Велешев, вела наискось через одну уютную лощину, потом спускалась в другую, имеющую плавный красивый изгиб, и, наконец, поднималась на основное взгорье, поросшее высоким стройным березняком. Отсюда открывалось обширное поле, являющее собою едва заметный, почти правильной округлой формы, холм. И в самом центре этого слегка вхолмленного поля стояли две знакомые древние сосны — кряжистые, разлапистые, крепко вцепившиеся своими мощными корнями в землю. Какими помнил Велешев эти сосны в детстве, такими они были и сейчас — будто, принимая тут на себя всевозможные удары бурь и гроз, испытав любые ненастья, холода и зной, закалялись и утвердились настолько, что даже и времени стали неподвластны.

Поле, которое давно уже ничем не засеивалось, плотно заросло цветастой травой, и Велешев шагал по нему напрямую к этим двум соснам. Прыгали из-под ног бойкие кузнечики разных видов, а в вышине самозабвенно и непрестанно творил свою песню жаворонок. Велешев стоял некоторое время, задрав голову, пытаясь разглядеть его в синеве и поначалу никак не мог найти. Но потом неожиданно обнаруживал счастливо трепещущую на одном месте в свежем утреннем воздухе птаху, и щемило ему сердце от мысли, что столь малое существо способно на такое высокое счастье...

Сосны на полевом холме стояли настолько близко друг к другу, что их игольчатые лапы смыкались между собой, и сразу же возникало чувство, будто живут эти два дерева в одну душу, и все у них общее.

Подойдя к ним, Велешев гладил крепкую чешуйчатую кору на могучих стволах, потом приваливался спиной к нижнему суку одной из сосен — мощному и словно бы даже не древесному, а отлитому из какого-то особого крепкого материала, имеющего золотистый оттенок. Сук этот рос от ствола сначала параллельно земле, а потом, круто выгибаясь, уходил вверх, и можно было забраться на него и сесть — хоть верхом, хоть просто так, свесив ноги. Но Велешеву нравилось стоять, ощущая спиной теплую плоть дерева, вдыхая запах смолы, и смотреть вокруг.

Пожалуй, это было самое высокое место в округе. Отсюда хорошо просматривалось все село, лежащее, словно в ладонях, в двух приречных впадинах, полностью видны были изгиб реки близ него, луговое изумрудное полотно за рекой и далекие леса в утренней сизой дымке. Поле, в центре которого стоял у сосен Велешев, с трех сторон окаймляли сглаженные временем овраги — такие же, как те, через которые он шел по тропе, а с одной стороны, за его спиной, проходило шоссе — отсюда время от времени долетали тоскливо прорезающие утреннюю тишину звуки несущихся машин.

И здесь, на высоте, душа Велешева почему-то уже не сливалась со всем окружающим, как совсем недавно в уютной ложбине, а, наоборот, ощущала себя непоправимо оторванной от всего. “Вот эти две сосны, — думалось ему, — разве смогут они друг без друга? Если какая-нибудь злая буря все-таки сокрушит одну из них, то, наверно, и другая не будет такой сильной. Возможно, даже начнет потихоньку засыхать на корню...”

От таких дум ему становилось еще больней — одиночество словно бы пронзало, распинаяло его здесь, на высоте, перед всем проникнутым утренней радостью миром. И однажды Велешев назвал мысленно это место своей “Голгофой”.

Но почему-то чаще всего тянуло именно сюда — к двум соснам, которые казались неподвластными времени...

Глава шестая

Так прошел год, потом другой...

Однажды Велешев разговорился с Иваном Укачиным — тот жил на одной с ним улице тоже один. Жена Ивана умерла лет десять назад.

— Как, Андреич, перемогашься-то? — со вздохом спросил Укачин. — Кукуем мы с тобой поодиночке в своих домах, и никто нас не поймет. Всем кажется, что мы такие же, как они, только маленько нам чего-то не хватает. А нехватка-то большая — так ведь?

— Так, Иван, — вздохнул тягостно и Велешев. — Очень большая нехватка. Вокруг все, как всегда, — дела, люди, с людьми хорошие родственные отношения... А в душе иной раз до того пустынно...

— Вот, вот. Пустынно, брат. Я за жизнь-то чего только не навиделся, не натерпелся — довелось хлебнуть боли и душевной, и всякой другой. И помирать даже приходилось, и воскресать с большой натугой. А теперь вот думаю, что, наверно, тяжелей этой нашей пустынности ничего на белом свете и нету. Господи, скорей бы уж лето, что ли, — сын приедет со своими, а там, глядишь, и дочь...

И Велешеву стало ясно, что даже Ивану не понять всей глубины его, велешевского, одиночества. У Ивана есть надежда на лето, ему есть, кого

ждать. Приедет сын с детьми, а потом дочь, и будут у него минуты, часы и дни, полные огромного смысла, согретые сокровенным теплом родства, ради которого только и стоит жить. А у Велешева ни сына, ни дочери, и ему не очень-то хочется, чтоб наступало лето, потому что незаметно погасит оно в душе даже тот произвольный светлый всплеск надежды, который вызывают первозданная весенняя зелень, свежесть и чистота первого буйного цветения. С наступлением лета птицы перестанут петь и начнут выводить птенцов, потянутся ввысь и вширь ветки кустов и деревьев, зазеленеет все вокруг однообразно и густо. И, зрея день ото дня, лето будет властно напоминать о том, что природа творит свой неуклонный порядок любви, который должен твориться и в человеческой душе. А в его, велешевской, душе такого порядка нет, и потому кажется, будто главная ее часть, самая ценная, живет впустую — утекает, как вода, как песок сквозь пальцы.

Он продолжал всецело отдаваться работе, был доступен и прост в общении, относился к людям с неизменной душевной теплотой — все эти качества проявлялись в нем теперь, пожалуй, даже в большей степени, чем раньше. Велешев словно бы бессознательно пытался таким образом заглушить, замаскировать свои переживания. Но результат получался скорее обратный — тот отпечаток, который оставляла на нем боль одиночества, становился лишь заметнее для окружающих.

Всю глубину его переживаний конечно же вряд ли кто мог понять, зато абсолютно четко понимали главное — ему нужна женщина. А поскольку у сельского люда зачастую на языке больше, чем на уме, то постоянно намекали: дескать, куда такое годится — мужчина в самой силе, и привлекательный, и душевный, да к тому же известный человек, а живет один, идет после работы в свой пустой дом...

Велешев хмыкал, улыбался, сокрушенно качая головой, и отвечал с нарочитым вздохом:

— Да... Наверно, надо действовать...

А глаза его не улыбались — зеленоватый волчий оттенок становился в них явственней, и они тоскливо смотрели куда-то мимо собеседника.

Особенно болела за него душой сестра.

— Конечно, — говорила Антонина, — память о жене надо хранить — святое дело. Но и о себе, наверно, пора подумать, Паша. А то ведь... гляжу на тебя — и так вот, вплотную, и на расстоянии, когда идешь, и... комок в горле становится, слезы наворачиваются.

— С чего это?

— А с того, что неприкаянностью от тебя веет за версту.

— Да с какой стати-то? — искренне удивлялся он. — Всегда я в работе, среди людей — когда тут веять?

— Все равно веет — поверь уж мне. И не я одна замечаю.

— Вот уж не думал... — улыбаясь, качал головой Велешев, а глаза опять же тоскливо смотрели куда-то мимо нее.

— Я тебе сестра, — продолжала Антонина, — и помочь по дому рада чем угодно. Только какое от меня утешение, какая душевная поддержка, если прибегу от своих впопыхах — и скорей впопыхах обратно... Сейчас ведь много одиноких женщин, Паша. Есть же, наверно, среди них и хорошие, подходящие...

— Да, есть, наверно, — пожимал он плечами. И, замечая, как в глазах сестры накапливаются слезы, принимал решительный вид: — Ладно, Тоня, не переживай. Ориентируемся и будем действовать.

— Ты только все собираешься, а на тебя давно уж взяли ориентацию. Имеют прищел, причем не одна. Неужто не чувствуешь?

— Да чую... — слегка морщась, отводил глаза Велешев.

— Вот и присмотришься, как следует, чего морщиться-то? Нельзя же так — без настоящей душевной поддержки.

— Ладно, присмотришься.

Сестра тяжело вздыхала, понимая, что он лишь успокаивает ее и никакого твердого решения на сей счет по-прежнему не имеет.

Конечно же Велешев чувствовал, что с некоторых пор стал являть собою приманку для женщин. И отнюдь не только для одиноких. И, чувствуя

это, усмехался внутренне: надо же — как они-то быстро умеют сориентироваться. Даже издалека — будто нюх у них какой...

Ему по-прежнему нередко приходилось участвовать в областных, районных и прочих мероприятиях, связанных с работой. Глава областного здравоохранения и, в самом деле, постарался воплотить в жизнь свою странную блажь — в Пореченскую больницу время от времени стали наведываться за опытом группы врачей из районов. Смысла в этом не было практически никакого, поскольку финансирование больниц равнялось едва ль не нулю. Но как бы там ни было, а после всех этих мероприятий — везде теперь так повелось — обязательно организовывались застолья, располагающие к более тесному общению. Велешев относился к такому новшеству хоть и не полностью одобрительно, однако все же с пониманием, — столько у людей накопилось трудностей, столь напряженной стала жизнь, что не грех было и расслабиться, отвести душу, общаясь по-свойски, создав себе иллюзию праздника, решительно отмахнувшись от субординаций и проблем.

И каждый раз во время подобных расслаблений он ощущал усиленное внимание к себе какой-нибудь женщины, да иногда и не одной. Немало пришлось ему выслушать печальных откровений, а порой едва ль не признаний в любви, и были моменты, когда стоило лишь положить руку женщине на плечо, а потом уединиться куда-нибудь, и пошло бы да поехало, понеслось бы да покатилося... Но Велешев не был специалистом по части столь быстрых сближений, к тому же он уже привык прислушиваться к своему сердцу и слушаться его, а оно ни в одном из таких случаев ничего ему не подсказало.

В Пореченской больнице давно всем было ясно, да и в самом Поречье потихоньку судачили о том, что в Велешева сильно влюблена медсестра Саша. Она жила с дочкой одна — муж несколько лет назад разбился на машине. Саша была значительно моложе Велешева, стройна, красива, с каким-то подкупающим лучистым светом в больших серых глазах. И медсестрой Велешев считал ее самой умной и опытной. Она всегда помогала ему во время операций, и все, что нужно было сделать, понимала не то что с полуслова, а с полувзгляда.

Казалось бы, лучшего и желать нечего и тут стоило лишь положить руку на плечо... Велешев ощущал глубоко скрытый трепет ее любви, от этого ощущения в нем иногда замирало все, будто перед прыжком с большой высоты, но через несколько секунд сердце опять начинало работать спокойно и ровно, словно давало понять, что вовсе не оно было причиной его мгновенного оцепенения.

Глава седьмая

А потом вдруг словно с неба свалилась Валерия.

Вообще-то упала она с березы, но Велешеву не раз потом казалось, будто свалилась Валерия прямо ему в руки именно с неба. И, думая об этом, он никак не мог понять: Господь Бог решил подвергнуть его испытанию, или утворила это совсем иная сила — та, которая именуется нечистой?

Однажды воскресным утром стоял он на своей "Голгофе" у двух живущих в единую душу сосен и оглядывал окрестности Поречья. Поразительно красивыми были раскинувшиеся вокруг полевого холма понижения и возвышения рельефа, одетые пышными волнами древесных куп. Река, изгибаясь огромным серпом у подножия села, била в глаза издали проникновенной голубизной, и четко оттеняло эту голубизну ярко-зеленое полотно лугов за рекой, очеркнутое у горизонта темной полосой леса. Отрешенно цвели вокруг Велешева полевые высокие травы, теплый шальный ветер, налетая, волновал их, и от всей этой сокровенно ликующей красоты болезненно щемило у него в груди, вместо радостного чувства нарастал под горлом упругий ком тоски.

И, больше уже не видя ничего вокруг, потерянно глядя под ноги, Велешев побрел от своих сосен через поле дальше — туда, где от реки почти до самого шоссе пролегал овражная впадина, поросшая березняком и раскидистыми ореховыми кустами. Вдоль оврага петляла в тени деревьев тропа, и, выйдя на нее, Велешев направился в сторону шоссе.

Там, неподалеку от дорожной насыпи, овражная низина переходила в ровное место, и на этом, словно бы приподнятом, ровном месте располагалась уютная березовая рощица. Велешев любил бывать здесь. И почему-то особенно тянуло сюда, когда на душе становилось совсем уж смутно. Тут у него имелся свой заветный пенек, на который можно было сесть, привалившись спиной к стоящему рядом дереву. И Велешев иногда подолгу сидел так, впитывая в себя тот необъяснимый радостный свет, который исходит от стволов, не старых еще, высоких и стройных берез, и временами поднимая голову, обращая взор вверх, чтобы вдобавок к тому прихватить небесной синевы, проглядывающей меж древесных вершин. Верхи берез покачивались, пружина под ветром, вдохновенно шумели всей своей листвою, доносился с шоссе деловито-монотонный гул машин, и все это постепенно успокаивало душу, незаметно заполняло ее тихой радостью бытия, теперь же, усевшись на свой пенек, Велешев услышал вдруг на некотором отдалении голоса людей. “Наверно, съехали с шоссе грибов поискать, — со вздохом подумал он. — Придется сматываться, а то набредут на меня, устанутся, как на паузаса...”

Но они, судя по всему, топтались там на одном месте и о чем-то спорили. Один из голосов был женским, раздраженным.

— Что вы трусите-то! — донеслось до Велешева. — Господи! Все ваше мужицкое племя — сплошные трусы! Тебе же ничего не стоит, Петрович! Залезь, оторви эту штуковину!

— Я тебе что — обезьяна?! — огрызнулся мужчина. — Садись давай в машину — и поедем! Я водитель, а по деревьям лазить не нанимался!

— Ну тогда ты лезь, Беклешин! — настаивала женщина. — Ты же в самой силе — на такую высоту орлом должен взлетать!

— Да бросьте вы эту блажь, Валерия Сергеевна! — попытался урезонить её другой мужской голос, более молодой. — Там же топор нужен или хоть какой-нибудь ножик! Зубами, что ли, ее отрывать, эту фиговину? Бросьте, поехали! Я запомнил место — как-нибудь в следующий раз во всеоружии сюда заскочим и достанем, отковырнем...

— Да какое от вас всеоружие, если ни малейшего уважения к женщине! — взъярилась она. — Ну, блин, предатели, ладно... Стойте, пяльте глаза, а я полезу сама! А если упаду — вы будете отвечать!

Велешев продолжал сидеть на своем пеньке, не двигаясь, боясь даже пошевелиться. Не хотелось привлечь к себе внимание в такой момент, и к тому же его удерживал невольный интерес: из-за чего у них там весь этот сыр-бор и чем все закончится?

И вскоре по треску сучьев и другим характерным звукам он понял, что неугомонная Валерия Сергеевна действительно карабкается на дерево. Мужчин поначалу не было слышно — наверное, взирали на ее подвиг в полной растерянности. Но через некоторое время они стали давать советы.

— Валерия Сергеевна, правей! — подсказывал молодой голос. — Не ставьте ногу на этот сучок — он слишком тонкий! Правей — вон тот!

— Ты хоть за ствол-то держись по-человечески, Сергеевна! — трубно басил тот, который назвался водителем. — Обними его покрепче да поглядывай, куда ставишь ногу! Ох, Господи, Боже мой!.. Вот же упрямая баба...

— Да пошли вы... в задницу! — запаленным голосом отвечала им с дерева женщина. — Советовать они... Выискались мне... советчики... с заячьими душами...

Беспокойство за нее, смешанное с досадой, нарастало и у Велешева — он даже зубы сжал и затаил дыхание. “Хоть бы уж не треснулась, — подумалось. — А то ведь в самом деле все кругом будут виноваты...”

— Не хватайся за него! — взревел вдруг там водитель Петрович. — Он сухой, сразу обломится!

Но она, видно, не вняла и этому совету. Сучок звонко треснул, донесся треск других сучьев, сопровождающих падение женщины, и Велешев зажмурил глаза — слышно было, как она ударилась о землю.

Он вскочил и ринулся туда, пеглая между деревьями. Как и предполагал Велешев, произошло это все на небольшой поляне, где стояла в центре старая береза, беспощадно израненная по веснам топорами добытчиков сока

и потому медленно умиравшая на корню. От нее-то, возможно, и зародилась тут когда-то рощица. Возник Велешев на поляне в самый критический момент. Героическая Валерия Сергеевна лежала возле многострадального дерева, а двое мужчин, поддерживая ее под спину и зверски взирая друг на друга, пытались решить, что же делать дальше.

— Извините, — сказал Велешев. — Я был тут поблизости и слышал, как она упала. Вам, кажется, повезло — я врач.

Мужчины от неожиданности вздрогнули и, уставившись на него, чуть не уронили пострадавшую — у нее вырвался сдержанный стон. Первым опомнился тот, который был, судя по всему, водителем Петровичем.

— Ух, слава тебе, Господи! — взревел он, просияв широкой физиономией. — Сергеевна, тут врач пришел! Держись, бедолажная твоя душа, теперь все будет в порядке!

— Да не ори ты... — процедила она сквозь зубы.

При первом же взгляде стало ясно, что пострадала женщина не шуточно. Брюки на ее левом бедре были разорваны, от колена до самого пояса и выше колена зияла рана, довольно глубокая, раскрытая подобием рта и постепенно переходящая в ссадину. Светлая брючная ткань уже успела пропитаться кровью. Синяя блузка тоже была порвана, одна ее пола задралась, и над животом багровела насквозь широкая полоса ссаженной кожи. И щеку пересекала ссадина, но эту Велешев счел пустяковой.

Мужчины все еще продолжали поддерживать свою спутницу под спину, и она старалась терпеть боль молча — прикусив нижнюю губу и крепко зажмурил глаза. Лишь на мгновение распахнула их — большие, темные, с каким-то вроде бы даже вишневым оттенком. Глянула на Велешева напряженно и опять страдальчески зажмурилась.

— Давайте-ка уложим её, — сказал Велешев. — Только осторожней. И под голову надо бы что-либо мягкое.

Валерию Сергеевну уложили, и другой её спутник, высокий светловолосый парень, подsunул ей под голову свою свернутую куртку. Велешев без промедления расстегнул на женщине брюки и кивнул мужчинам:

— Помогите мне. Нужно аккуратненько снять.

— Еще чего... — открыв глаза, обожгла женщина Велешева горячим взглядом. — Три мужика будут смотреть на меня, на голую...

— Успокойтесь, Валерия Сергеевна, — усмехнулся Велешев. — Как-нибудь переживем вашу наготу. Вы только потерпите еще чуток.

— Ты уж в самом деле, Сергеевна... — укоризненно загудел Петрович. — Или мы тебя в купальнике не видели? Хоть сейчас-то не упрямылась бы. Врач знает, что делает.

— Откуда еще врачи-то здесь ходят? — пробормотала она.

Губы у женщины дрожали, и зубы постукивали. Однако больше Валерия Сергеевна не протестовала, и брюки с нее благополучно стянули. Наготу ее прикрывали теперь лишь узкие трусики да разорванная блузка, из-под которой виднелась пышная грудь, поддерживаемая бюстгалтером, тоже не слишком широким.

Опустившись на колени, Велешев быстро осмотрел рану на ее бедре и вдруг застыл на мгновение, растерянно похлопал себя по поясу. Джинсы на нем были без ремня.

— Что-нибудь... — обратился он к мужчинам. — Ремень, что ли, какой-нибудь, только помягче... Необходимо наложить жгут, остановить кровь.

— Дак есть же он! — радостно рывнул Петрович. — Есть настоящий жгут!

Женщина вздрогнула и, поморщившись, произнесла сквозь сжатые зубы:

— Чего ты всё орешь-то, Петрович? Как будто не я, а ты упал с дерева.

— Молчу, Сергеевна, молчу, — вжал он голову в плечи. И объяснил Велешеву почти шепотом: — В аптечке у меня жгут. И бинты там есть, и еще какая-то хреновина.

— А где аптечка?

— Да в машине. Вон машина — за деревьями стоит.

— Бегите за аптечкой. Стоп! А водки не найдется? Или хотя бы одеколон... И, может, полотенце...

— И водка есть, — торжественно сообщил Петрович. — И полотенце найдем — как же без полотенца...

— Тогда быстрей.

...Крепко стянув через полотенце бедро потерпевшей резиновым жгутом, Велешев вымыл руки водкой и, сделав из бинта тампон, пропитав его опять же водкой, вытер вокруг раны кровь, продезинфицировал, насколько было можно, края разрыва. Бинта хватило и на то, чтобы наложить более-менее надежную повязку. Он чувствовал, как напряглось и дрожит от боли все тело женщины, слышал ее судорожное, сквозь сжатые зубы, дыхание, однако во время этих мучительных манипуляций она не проронила ни звука. “Хоть бы уж плакала, — подумал он с тревогой, — или стонала, что ли... А то зажала в себе всё — не хватало еще болевого шока...”

— Рука... — пожаловалась вдруг она хриплым шепотом. — Кисть правой руки... очень сильная боль...

Велешев глянул и обомлел — в запястье был явный вывих. “Вот же олух! — ругнул он себя мысленно. — Прозевал впопыхах”. Он взял ее руку и полегоньку, словно бы лаская, стал массировать место вывиха.

— Зачем же вы на дерево-то полезли? — спросил успокаивающим тоном. — Что там такого интересного?

— Там... — напрягаясь от боли всем телом, судорожно выдохнула Валерия Сергеевна, — там чага растет.

Продолжая поглаживать ее руку, Велешев глянул мельком вверх и увидел на березе обыкновенный, размером с увесистый камень, трутовик.

— Вам нужна чага? — он старался вкладывать в слова как можно больше тепла. — Зачем? Вот уж не подумал бы, что вы нуждаетесь в таких лекарственных средствах...

— Я не нуждаюсь. А кому-нибудь... вдруг пригодится. Лечит рак, а ее нигде не найдешь.

— Ну тогда... наверно, стоило приносить себя в жертву.

Разговор несколько отвлек ее от боли, и, почувствовав, что поврежденная рука ослабилась, Велешев неожиданным сильным движением вправил вывих. Она приглушенно вскрикнула, темные глаза ее раскрылись до предела и застыли невидяще. Велешев склонился, глядя в них, мысленно умоляя ее не терять сознание, но в следующее мгновение глаза Валерии Сергеевны запламенели гневом, и она влепила ему с левой руки звучную пощечину.

— Спасибо, — сказал Велешев. — Теперь мне хоть ясно, что другая ваша рука в полном порядке. Да и позвоночник тоже, судя по всему, поскольку реакция отменная. Я вам вывих вправил в запястье — позже это было бы гораздо сложнее.

Она пошевелила пальцами, попробовала сжать руку в кулак.

— Надо же... — произнесла удивленно. — Уже не так больно. За оплеуху... прошу прощения. Это автоматически.

— Понятно. Где у вас еще болит?

— Вот здесь, — коснулась она ссадины под грудью. — И вздохнуть как следует не могу, и... говорить даже больно. Ребра, наверно...

— Скорее всего.

— И еще нога, которую перевязали. Там, внизу... в лодыжке... тоже невыносимо... Да хватит вам спрашивать — определяйте куда-нибудь быстрей. Валяюсь тут перед вами... голая и на голой земле...

— Ну, вы же не совсем голая, — машинально пробормотал Велешев, осматривая ее стопу, уже заметно вспухшую. — Кое-какое прикрытие, слава Богу, уцелело.

— Вас бы всех выставить на всеобщее обозрение с таким прикрытием.

— Смею верить, — осторожно ощупывая щиколотку, продолжал он, — что трое мужиков, изодранных в кровь и лежащих на земле в трусах... здорово проиграли бы по сравнению с вами.

— У... утешили, блин...

Проверяя работу сустава, Велешев подвигал ее стопой, и Валерия Сергеевна опять напряглась до дрожи.

— Гос-споди... — выдохнула она. — Засветила бы еще одну оплеуху, но туда мне не дотянуться.

— А вы ногой, — усмехнулся он, — если вам от этого будет легче. Другая нога-то, кажется, в норме.

— Ногой... неэтично.

— Потерпите, Валерия Сергеевна. Вас ведь придется поднимать, нести, скорее всего, а потом везти, и надо хотя бы приблизительно знать характер повреждений.

— Ох, какой же вы нудный...

— Ничего не поделаешь — работа такая.

Вывиха в лодыжке не было. “Похоже, сильное растяжение или даже разрыв связок, — прикинул мысленно Велешев. — А может, и скрытый перелом, трещина. Рентген понадобится...”

— Не тошнит вас? — спросил он.

— Да, конечно, тошнит. И от вас тошнит, и вообще...

— Как она упала? — глянул Велешев на мужчину. — Головой ударились?

— Сначала вроде бы на ноги приземлилась... — озадаченно сдвинул брови Петрович, — а потом, кажись, на жо...

— Я точно все видел! — перебил парень. — Действительно — сначала на ноги, а потом ударились за... задничкой. А потом...

— Это у тебя задничка, Беклешин, — подала голос пострадавшая. — А у меня нормальный женский зад. Хотя бы уж называли вещи своими именами.

— Я хотел назвать своим именем, — пробурчал Петрович, — дак вот не дали. А ты Сергеевна, не кипятись, лежи спокойно — тебе же вредно. Доктор к нам сюда выскочил вроде бы толковый, делает все по уму...

— Так ударились она головой или нет?! — раздраженно повторил Велешев.

— Да гудит же с болью в голове, — ответила Валерия Сергеевна, — и тошнит — я ведь сказала.

К машине женщину доставили почти бегом, но вполне аккуратно. Велешев подхватил ее под мышки, Петрович поддерживал под “задничку”, а Беклешину достались ноги. Устроили пострадавшую на заднем сиденье с тем расчетом, чтобы поврежденная нога покоилась на нем, а голова на коленях у Велешева, прижавшегося вплотную к дверце. Валерия Сергеевна терпела это все, не произнося ни слова, лишь изредка постанывая сквозь сцепленные зубы. Повязка на ее бедре все больше напитывалась кровью, до райцентра было двадцать с лишним километров, и Велешев сказал Петровичу, чтобы вез в Поречье.

— А там, в этой дыре, куда? — обернувшись, насушил тот брови.

— Там больница, где я работаю.

— Ну, тогда пойдет.

Когда ехали, рука Велешева успокаивающе лежала на предплечье пострадавшей, и в какой-то момент он вдруг почувствовал, что женщина открыла глаза и смотрит на него.

— Все время кажется, — сказала она, встретив его взгляд, — что где-то я вас видела.

— Не исключено, — ответил Велешев. И усмехнулся, покачав головой.

— Чему вы усмегаетесь?

— Да вот удивляюсь: как вам удалось в столь катастрофическом падении уберечь вашу прекрасную грудь? Похоже, ведь ни единой царапины.

Она прикрыла краем блузки выступающий из-под лифчика верх груди и попыталась изобразить усмешку:

— Господь Бог, наверно, старается беречь все красивое.

— Наверно. Жаль только, что сами мы ему в этом плохо помогаем.

— Бросьте вы нудить. Взгляните на все как-нибудь... романтически, что ли.

— Хм... Попробую.

Глава восьмая

И всё, что произошло дальше, казалось потом Велешеву не совсем обычным. Вроде бы четко и последовательно руководил он тогда своими действиями, но в то же время словно бы направляла его какая-то неведомая внешняя сила. Да, пожалуй, все-таки направляла — мягко этак, ненавязчиво, почти незаметно.

Помнится, как отчего-то вдруг охватило радостью душу, когда, въезжая с пострадавшей на больничный двор, увидел он своего шофера, который, не смотря на выходной день, возился возле машины.

— Володя, — спросил Велешев, — ты чего это здесь бодрствуешь? Срочное что-нибудь?

— Да нет, Павел Андреевич, пока никаких вызовов. Пришел поковыряться маленько для профилактики.

— Так машина не на ходу, что ли?

— Обижаете. Когда она у меня была не на ходу? Просто подтянул кое-что, иду мыть руки.

— Вымой их как следует. Мы тут пострадавшую привезли, с травмами, — нужна твоя помощь. Быстренько организуй носилки — и в хирургическую ее. А там на каталку.

— Сделаем, Павел Андреевич.

— На дежурстве кто у нас сегодня?

— Купавина утром заступила.

— Отлично.

Это была та самая Саша, без которой он не мог обходиться во время операций и которая беззаветно и безуспешно любила его уже не первый год.

— Павел Андреевич?! — растерянно вскочила она со стула, когда Велешев неожиданно возник перед сестринским постом. — Что же вам не отдыхается? Воскресенье ведь. И такой хороший день... У нас тут все в порядке.

— Теперь не совсем все. Я женщину травмированную привез.

— Господи... Сюда никто не звонил... Где вы её взяли?

— Да с неба упала, — как-то не к месту весело, залихватски усмехнулся Велешев. — Вернее... почти с неба.

— Парашютистка, что ли?

— Хм... Вроде того. Я велел уложить её пока на каталку возле операционной. Иди, Саша, туда и быстренько введи ей литическую смесь.

Когда Велешев появился в хирургической пристройке в надлежащей одежде, Валерия Сергеевна, лежа на высокой каталке возле операционной, что-то внушала своим спутникам слабым, осевшем почти до шепота голосом.

— Хватит вам тут глазеть на меня, нечего ждать, — услышал он, подходя. — Вчера я вас задержала, да сегодня еще по моей вине... Езжайте себе спокойно, со мной все будет в порядке. Тебя, Петрович, жена теперь ждет. Трудно было позвонить ей? Сколько ни убеждай, все тебе по фигу...

— Клотильда моя, конечно, мечет сейчас икру... — вздохнул Петрович.

— Не зови её Клотильдой. У нее прекрасное имя — Люба.

— Ладно, не буду. Только как же оставлять-то тебя? Наши скажут: бросили — и ходу?

— Пошлите их подальше, и пускай не скулят. Как-нибудь обойдутся там пока без меня. Что ж поделаешь — придется мне тут подзадержаться. Мобильник есть — позвоню своему Лёнке, и примчится, привезет все, что нужно. Машина у нас с ним в обкатке — вот и пусть накручивает километраж. Езжайте. А то Беклешин, небось, еще вчера к своей Тamarочке намылился. А, Беклешин?

— Вообще-то... — смущенно помялся парень, — было такое в планах, Валерия Сергеевна. Угадали, как всегда.

— Ну и всё. Отстаньте Христа ради. Мне хоть и вогнали обезболивающее, а говорить больно. Сматывайтесь и благодарите Бога за то, что у нас пока еще эскулапы... блуждают по лесам.

— К счастью для женщин, — добавил Велешев, — у которых проснулись привычки обитавших в дремучих лесах далеких предков.

— Ой... — увидев его, вздрогнула Валерия Сергеевна. — Простите, доктор, я не в обиду... гоните их в шею, и... как говорится... вручаю вам свое несчастное тело...

— Спасибо, — едва заметно усмехнулся он. — Будем стараться, чтобы оно опять обрело необходимое счастье.

Лицо её, пересеченное багровой ссадиной, пылало нездоровым румянцем, под глазами залегли тени, но сами глаза сохраняли выражение упрямой насмешливой силы.

Велешев хотел сказать, что подзадержаться ей придется не здесь, а в районной больнице, поскольку нужен будет еще и рентген, и невропатолог. И помощь ее спутников может потребоваться, когда он вызовет “скорую”. В “скорой” работают в основном женщины, поэтому две пары мужских рук не были бы лишними и по приезде в райбольницу. Хотел сказать всё это, но почему-то промолчал. “Ладно, — подумалось, — обойдемся как-нибудь...”

Из операционной доносились быстрые Сашины шаги, звяканье инструментария. Потом она распахнула дверь и сказала:

— Готово, Павел Андреевич.

И без промедленья начала разворачивать каталку с пострадавшей. Петрович ринулся подталкивать с другой стороны, вперся бы и в операционную, но Саша остановила его у двери властным жестом:

— Все. Вам сюда нельзя.

— Ваша здесь сумка, Валерия Сергеевна, — выглянул из-за плеча Петровича Беклешин. — На скамейке у двери. А вы поправляйтесь скорей.

— Вот как только отстанете, так сразу и начну поправляться.

Петрович тяжело вздохнул, сокрушенно покачал головой и, осторожно подтолкнув каталку в операционную, прикрыл дверь.

...Края раны на бедре пострадавшей были неровными, и швы Велешев накладывал, прилагая все свое умение — с тем расчетом, чтобы шрам потом не слишком бросался в глаза. Повозиться с этим “шитьем” пришлось нешуточно — благо, что Саша, обколов рану новокаином, надежно обезболела её. Все остальное не представляло собою никакой сложности — вскоре и ссадины были обработаны надлежащим образом, и места внутренних повреждений зафиксированы тугими повязками с предельным тщанием.

Другое дело — чего всё это стоило пострадавшей, но она и тут терпела поистине героически, плотно зажмурив глаза и прижав зубами нижнюю губу. Лишь однажды вырвался у нее произвольный стон — когда накладывали тугую повязку на поврежденные ребра. Обезболивающее конечно же оказывало свое действие, однако тело ее было напряжено от головы до пят, мелко подрагивало, и Велешев чувствовал, как нелегко дается ей это терпение.

— Вы уж хоть постонали бы как следует или поплакали, что ли, — сказал он. — Нельзя же так зажимать все в себе.

— Не хватало вам еще моих слез, — ответила она хриплым шепотом. — Мне, наоборот... смеяться хочется.

— Ну, тогда смейтесь.

— Обязательно посмеюсь. Только... попозже как-нибудь.

Он покачал головой и удивленно оглядел ее всю, словно видел впервые. Помогавшая ему Саша, перехватив этот взгляд, опустила глаза, и щеки у нее чуть заметно порозовели. Умело перебинтовав напоследок запястье пострадавшей, она обратилась к Велешеву:

— Вызывать “скорую”, Павел Андреевич?

— Какую “скорую”? — встрепенувшись, распахнула глаза Валерия Сергеевна. — Это еще зачем?

— Чтобы доставить вас в районную больницу, — ответил Велешев. — Необходим рентген — в области стопы возможен скрытый перелом. И относительно ребер тоже... Да и невропатолог должен глянуть.

— О-ох, до чего же вы нудный... “Доставить в больницу”, “возможен перелом”, “относительно ребер”... Что это за набор-то у вас такой?

— Это он у вас такой, а не у меня. Сказали, что хочется смеяться, а сами сердитесь.

— Сейчас мне спать очень хочется. Неужели непонятно, что человек... вправе устать от всех этих ваших...

— Понятно, Валерия Сергеевна, — усмехнулся Велешев. — Но вы тоже поймите: не было бы “этих ваших” — не пришлось бы вам терпеть и “эти наши”. И ехать всё-таки надо.

— Мне бы сейчас поспать, а уж завтра...

— Нельзя откладывать, если хотите, чтоб скорее зажило. Потерпите уж еще. В машине на носилках подремлете.

— Ну тогда... — опираясь о стол здоровой рукой, сцепив зубы и зажмурившись, Валерия Сергеевна стала подниматься.

— Что вы делаете?.. — опешил Велешев. — Вам сейчас нельзя вставать.

Он коснулся ее плеча, чтобы помочь улечься, но она дернула плечом, освобождаясь от его руки, и с каким-то невероятным упрямством поднялась все-таки, спустив со стола здоровую ногу, приняла сидячее положение.

— Ну что вы все упрямитесь... — укоризненно покачал головой Велешев. — Вам же будет хуже.

— Зеркало у вас есть? Принесите мне зеркало.

— Принеси, Саша, — кивнул он.

Небольшое зеркало висело над умывальной раковиной, и Саша снял его, выставила перед Валерией Сергеевной. Та посмотрела на себя, слегка коснулась вспухшей ссадины на щеке, которая была обработана зеленкой, и пробормотала ошеломленно:

— Ну и чучело...

Но, несмотря на ее растерзанный вид, на повязке, белеющей там и сям, именно в этот момент Велешев отметил вдруг мысленно, что вся она как-то очень ловко, красиво сложена. Тело ее было несколько полноватое, но при высокой талии и крутых бедрах полнота лишь выгодно смягчала его линии, сообщала ему ту насыщенность истинно женской негой, которую так хорошо умели передать на своих полотнах старинные европейские мастера. И в лице ее, в пухлых капризных губах — даже сейчас, когда щеку пересекала зеленая полоска ссадины, — можно было уловить это завораживающе-плотское. “В ней много женщины, через край, — подумал Велешев. — А душа... в душе, похоже, туча всякой бесовщины. И глаза — поистине два беса, готовых на все...”

Удрученная своим видом Валерия Сергеевна отстранила зеркало и неожиданно встретила этот велешевский взгляд. Коричневые глаза ее полыхнули вишневым оттенком.

— Господи... Ну что вы смотрите? Сколько же можно взирать на меня, на голую, в упор?

— Вы на операционном столе, — усмехнулся Велешев, — а люди на него по большей части голыми и попадают. Но вам-то вряд ли стоит считать себя такой уж нагой. Во-первых — на вас трусики и лифчик. Какой-никакой, а все-таки щит. И к тому же повязками мы вашу фигуру надежно упеценили — и голого-то нет почти ничего. По-моему, вы просто притворяетесь голой — зачем это вам?

Она смотрела на него во все глаза, не зная, принимать эти слова всерьез или нет. Саша улыбалась едва заметно.

— Александра, — обратилась Валерия Сергеевна к медсестре, — вас, кажется, так зовут? В моей сумке, в коридоре, есть купальный халат. Пожалуйста, принесите его. А вы, доктор, отвернулись бы всё-таки или вышли на несколько минут. Понимаю, что насмотрелись всяческих телес, но мне ведь очень неудобно — это-то хоть учитывайте.

— Саша, — несколько смутился Велешев. — Помогите пациентке одеться. И постарайся объяснить, что ей необходимо пребывать в горизонтальном положении. Объясни, что сейчас обезболивающее делает ее такой активной, а потом будет значительно хуже, и силы надо беречь.

Он с привычной тщательностью вымыл руки и, больше не устаивая пострадавшую взглядом, вышел из операционной. Переодевшись в своем кабинете, Велешев направился во двор и, подойдя к водителю Володе, откровенно глядя по сторонам, попросил:

- Дай-ка закурить.
- Да вы же бросили, Павел Андреевич.
- Ну... ничего. Брошу опять.
- У меня же простая “Прима”. Вы такие не будете.
- Буду. Давай.

Валерия Сергеевна лежала уже опять на каталке в коридоре, и на ней был оранжевый махровый халат. Саша успела каким-то образом и на исходную позицию ее перебазировать, и одеться ей помогла. Глаза у пострадавшей были закрыты — видимо, одолевал сон.

— “Скорую” еще не вызывали, Павел Андреевич? — спросила медсестра. — Пойти вызвать?

— Не стоит, Саша, — ответил он. — Ты ведь знаешь, сколько они будут ехать. Лучше уж мы с Володей сами...

— Но у вас же выходной. И, кажется, ничего уж такого экстренного...

— С выходным — Бог с ним, всё равно делать нечего. А насчет экстренности... Что же мы человека в таком состоянии будем ожиданиями мучить? Чем скорее определится все с диагностикой, тем лучше.

— Доктор, — не открывая глаз, сказала пострадавшая, — что за дряни такой вы накурились? Хоть бы курили хорошие сигареты. Откровенно говоря, не выношу табачного запаха.

— А я не выношу сварливых и капризных женщин. И откровенность вашу поберегите до лучших времен.

— Грубость никогда не украшала корпус врачей.

— Нам сейчас предстоит погрузить в машину ваш украшенный корпус. Поэтому вы лучше успокойтесь, соберитесь с силами.

— Боже ты мой... Это сколько же еще будут меня таскать, как тюфяк, и швырять с места на место?

— Ну уж если нравилось пребывать в роли обезьяны, то и в роли тюфяка извольте потерпеть.

— Надо же... Вас прямо-таки подмывает обидеть меня.

— Да и в уме не держу. Следуя вашему совету, смотрю на все исключительно романтически.

— С каких это пор варварство стало считаться романтикой? Что за взгляды у вас такие? И... нечего меня таскать. Сама дойду — одна нога ходячая. Только помогите встать и поддержите.

— Все, больная, умолкли. Хватит командовать. Тут командую я. Саша, опускай каталку до предела. Володя, подвинь поближе носилки и бери пациентку под мышку...

— Романтический варвар какой-то... — пробормотала Валерия Сергеевна.

Глава девятая

В машине Велешев сидел рядом с пострадавшей, у ее изголовья. Ехать ей, лежа на узких носилках, было весьма мучительно: едва только она проваливалась в сон, как тут же просыпалась от малейшего толчка, даже от торможения автомобиля. Судя по всему, обезболивающее утрачивало свое действие, и теперь требовалось истинное терпение. И она терпела — Велешев видел, как сжимаются, кривятся от боли ее красивые губы, однако с них не срывалось ни единого звука. Это упрямое терпение нервировало его — казалось, что если бы она расслабилась, отпустила в себе все, стонала или даже ругалась с ним, то и ей, и ему было бы гораздо легче. “Господи, Боже мой... — подумал он с раздражением. — Сколько же их нынче развелось, этих упертых дамочек... И всем им кажется, что уперлись во имя чего-то чуть ли не великого. А на самом-то деле упираются против своей женской сути, против самих себя. Вот едет, терпит изо всех сил, а из-за чего, во имя чего? Лучше бы уж разревелась во всю ивановскую: эх, дескать, дура я, дура, куда меня, дуру, понесло... Это уж хоть было бы истинно по-женски, и полегчало бы сразу...”

И в то же время ему было жалко ее, временами даже казалось, будто боль женщины проникает в него. Уж он-то хорошо знал, какие страдания могут причинять прежде всего реберные переломы или ушибы, а если добавить к этому и все остальное...

Где-то на полпути машину тряхнуло довольно сильно — женщину даже несколько подбросило на носилках. На сей раз у нее вырвался стон, и Велешев инстинктивно, словно бы пытаясь помочь, взять себе хотя бы частицу боли, накрыл ее ладонь своей ладонью. И ей будто бы не хватало именно этого — горячая рука женщины судорожно сжала его пальцы. И потом она уже не отпускала велешевскую руку — видно, так ей было легче. И вроде бы даже заснула на какое-то время.

За годы своей работы в Порече Велешев, общаясь с врачами районной больницы по разным обстоятельствам, перезнакомился с ними практически со всеми, и со многими у него были теплые доверительные отношения. Да и вообще тут все, включая и рядовой медперсонал, знали его и относились к нему с неизменным уважением.

Во-первых, людям льстило, что он, светило медицинской науки, редкий специалист, спустился к ним сюда с верхов и держится с ними не только абсолютно на равных, но и ничуть не считает для себя зазорным при необходимости обратиться за советом или консультацией к опытному терапевту, травматологу или урологу.

Во-вторых, со временем убедились, что этот “спуск с верхов” отнюдь не является блажью избалованного известностью человека, а несет в себе нечто очень серьезное и важное для него. Потому что видели, с каким самозабвением “пашет” он на своем тяжелом участке, как много делает и сколь во многом преуспевает. О его обязательности, безотказности, о его поразительной изобретательности как на медицинской, так и на хозяйственной ниве, ходили легенды. Он постоянно помогал районным кардиологам. В кардиологическом отделении уже привыкли к тому, что в самой аховой, тупиковой ситуации можно обратиться к Велешеву, и в какой бы час дня или ночи ему ни позвонили, он обязательно примчится, поможет найти единственно правильное решение. Ну и к тому же просто по-человечески жалели его, сочувствовали ему душевно, поскольку знали все, что жена у него умерла, и волочет он свой нелегкий воз без “тыловой” поддержки.

И в силу всего этого в районной больнице, даже в воскресный день, сразу же нашлись люди, которые помогли Велешеву доставить подопечную от машины в травмпункт, и рентгенолог обследовал ее безотлагательно, со всевозможным тщанием. Он обнаружил у Валерии Сергеевны сильный ушиб двух ребер, одно из них имело трещину. В области левой стопы все кости оказались целыми, но растяжение связок было нешуточным, и Кутенцов, дежурный травматолог, с которым Велешев держал совет, счел за лучшее капитальную иммобилизацию ступни, то бишь наложение гипса.

Велешев мог бы сдать пострадавшую, что называется, с рук на руки и уехать, однако почему-то продолжал принимать в ее судьбе самое деятельное участие. Словно не врачам райбольницы, а самому ему предстояло заниматься ее лечением.

— Это родственница ваша, Павел Андреевич? — спросил Кутенцов.

— Да нет... — смутился Велешев. — Она, понимаешь ли... абсолютно незнакомая. Упала с высоты...

— Хм... — уставился на него травматолог. — С неба, что ли?

— Можно сказать, что и так. Ну и представь себе: падает человек с неба, обдирается весь, травмируется с головы до пят, а вокруг ни родных, ни близких... Вот и стараюсь поддержать. Надо, чтоб невропатолог посмотрел ее — по моим прикидкам, сотрясение мозга имеется.

— Из невропатологов кто-нибудь, может, во втором корпусе дежурит — в своем отделении. Да не беспокойтесь вы, Павел Андреевич. Определят сейчас эту неудачно приземлившуюся птицу в палату, уложат, введут обезболивающее. А завтра и невропатолог посмотрит, и хирург, назначения сделают в полном объеме. Все будет хорошо, езжайте себе спокойно.

— Нет, Миша, я все-таки наведаюсь в неврологию. Если есть там кто — попрошу глянуть. Пусть она пока тут у тебя полежит.

— Да пусть лежит — мне что... Других, неудачно приземлившихся, пока нет.

И вскоре Велешев привел Аркадия Фадеевича, опытного, пенсионного возраста, невропатолога, с которым был на дружеской ноге. Фадеич, как звали его все, быстренько обследовал пострадавшую и подтвердил:

— Да, есть. Конечно, отнюдь не самая опасная степень, однако десяток днейков придется вам, голубушка, побыть в горизонте.

— В каком это еще горизонте? — безголосо спросила она.

— В горизонтальном положении, лежа то есть. Строгий постельный режим.

Врачи тут же стали обсуждать, в какое отделение больницы лучше ее оп-ределить, но Валерия Сергеевна заявила вдруг весьма четко:

— Лечиться я буду только у доктора, который меня сюда привез.

— Ого! У нее, оказывается, еще и на диктат силенок хватает, — едко усмехнулся Кутенцов, который привык не слишком церемониться со своими пациентами, поскольку большей частью они попадали к нему нетрезвыми. — Доктор вас и вез-то сюда потому, что у него там нет условий для вашего лечения.

— А мне там условия больше понравились, — продолжала Валерия Сергеевна. — У вас здесь воняет черт знает чем... И вез меня доктор сюда для уточнения диагноза. Я эту пытку выдержала — диагноз теперь ясен. И пребывать в горизонте, как вы изволите выражаться, мне хочется там — в спокойной сельской больнице.

— Но помилуйте, голубушка... — развел руками Фадеич. — Зачем же вам устраивать себе еще одну пытку? Зачем с сотрясением мозга, с вашими свежими травмами трястись по дороге обратно, если вы уже находитесь в больнице? Причем в такой больнице, где в самом деле — все условия для лечения. Вас ведь должен и невропатолог наблюдать, а у Павла Андреевича невропатолога нет.

— Вы же сами сказали, что у меня ничего опасного, надо только ле-жать, — продолжала упорствовать женщина. — И поймите — как невропа-толог вы должны понять: одно лишь сознание того, что там уютная сельская больница, тишина, покой, природа вокруг, настраивает на быстрое выздо-рвление. Ради этого я готова терпеть и обратную дорогу. Почему же обя-зательно надо загонять меня в ваш огромный улей, набитый всевозможны-ми болезнями? Неужели в нашей несчастной размочаленной стране мне уже не оставляют права даже на такой выбор?

— Ну зачем же так, дражайшая вы моя... — Фадеич подошел и ласко-во погладил ее по плечу. — Разве мы революционеры, чтобы лишать вас права на выбор? Мы, врачи, хотим как лучше. Отлично понимаю — пси-хологический фактор очень важен для выздоровления. Но и вы постарай-тесь понять: вдруг через день-другой у вас начнется обострение, а невропа-толога рядом нет, соответствующей диагностической аппаратуры тоже не имеется... И что же — опять терпеть дорожную пытку? Да вы себя этак совсем изведете.

— Доктор, — тихо, но трогательным, проникновенным тоном ответила она, — мне кажется, вы хороший специалист и добрый человек — из тех, которые умеют тонко чувствовать и верить. Так вот поверьте: для успешного выздоровления мне нужна только та больница, и никакого обострения у меня там не будет.

— Но как можно предугадать, голубушка... Хотя... впрочем... вера в не-которые условия и обстоятельства... Да, такая вера иной раз способна тво-рить чудеса. Я, кажется, понимаю... Однако ведь не от меня зависит. Смо-жет ли Павел Андреевич взять на себя такую ответственность? — И обер-нулся к Велешеву.

— Ну, так как же мы поступим, Павел Андреевич? — спросил Фадеич с едва заметной улыбкой.

— Да если человек столь решительно начертал себе образ условий, которые будут способствовать его выздоровлению... — улыбнувшись ответно, отвел в сторону глаза Велешев, — то, наверно, вряд ли стоит разрушать это в нем. Давайте-ка мы вот как поступим. Я беру пострадавшую к себе, а денька через три, Фадеич, пришлю за тобой машину. Надеюсь, не откажешь посмотреть больную для подстраховки?

— Не только не откажу, но даже и с превеликим удовольствием наведаюсь в твои благословенные пенаты. Угостишь ведь, небось, чем-нибудь?

— Всенепременнейше. Ты же знаешь, как я ценю наши с тобой философские пиршества. А сейчас одну только вижу проблему — боюсь, что обрატная дорога, Валерия Сергеевна, в самом деле значительно ухудшит ваше состояние.

— Уже некуда ухудшать, — ответила она. — Я страшно устала. Мне надоела боль, надоели все вы. В машине я сразу же усну.

— Ох, боюсь, Павел Андреевич, — пробурчал Кутенцов, — что хлебнете вы лиха с этой небесной пациенткой.

— Вот если я здесь останусь, — ответила ему Валерия Сергеевна, — то вы-то уж точно свету белого не взвидите.

— Зря раскатились, — не унимался травматолог. — Я тут на отшибе, в палатах больных не обслуживаю, так что вряд ли вы меня достанете.

— Если вдохновлюсь, то я вас где угодно достану.

— Настолько вредная, да? — округлив глаза, уставился на нее Кутенцов.

— В данный момент ровно настолько же, насколько и вы. Но если останусь здесь, то это умножится многократно.

— Павел Андреевич, — сказал травматолог, — я готов сию же минуту помочь погрузить эту женщину в вашу машину. Как меня, дурака, угораздило забыть, что у раненых десантников боевой дух многократно умножается?.. Давайте, берем ее скорей, пока окончательно не сработала система умножения.

— Спасибо, Миша, — рассмеялся Велешев. — Молодец, правильное принял решение. Сейчас поможешь. Только сначала дай Фадеичу листок бумаги и ручку — пусть он свои назначения сделает.

Кутенцов потом и в самом деле бросился помогать с небывалым энтузиазмом. Когда Велешев, пригласив своего водителя, вознамерился переместить пострадавшую с кушетки на носилки, травматолог решительно отстранил его:

— Не надо, Павел Андреевич, мы сами управимся. А вы берегите силы — вам их теперь много понадобится.

Когда ее водворили в машину, Велешев поблагодарил травматолога и, усмехнувшись, хмыкнул:

— Интересное у тебя отношение к больным, Миша.

— Да? — радостно вскинул тот голову. — Вы заметили? — И вдруг сообщил заговорщическим шепотом: — Это моя система, Павел Андреевич. Я ее изобрел.

— Что за система? — удивленно смотрел Велешев.

— Ну вы же видели. Сначала все делаю для того, чтобы больной счел меня непроходимым хамом. Довожу его таким образом до точки кипения, а потом начинаю притворяться, что понял свой перебор и теперь уже катстрофически боюсь пациента. С вашей дамой-то — я так, слегка. А если по полной программе, то действует безотказно.

— На что действует-то?

— Да обезболивает не хуже новокаина. Забывает пациент о боли — и все тут. Это же я изобрел в те времена, когда препаратов у нас не хватало, в том числе и анестезирующих. Вы бы только видели, с какими травмами приходилось мне управляться при помощи такого обезболивания.

— Нет, уж лучше не видеть, — сказал Велешев. — Хм, надо же... Не дремлет в нашей поруганной стране творческая мысль.

— Не спит, Павел Андреевич. Так что... вы уж не обижайтесь на меня.

— Ну, еще чего...

Глава десятая

Вспоминая потом, как вез тогда Валерию обратно в Поречье, Велешев не единожды удивленно качал головой: почему так случилось? Что это вдруг нашло на него — любовь с первого взгляда, что ли, поразила в самое сердце, как выражаются в сентиментальных романах? Да в помине не было ничего подобного. Такое бывает, наверно, только в юношескую романтическую пору, а здесь... Ему под пятьдесят, она в том возрасте, который не редко называют бальзаковским, и “первый взгляд” на этом этапе жизни совсем уже другой — не восторженно заглядывающий внешнее обаяние, а прицельно оценивающий, взвешивающий, причем не столько внешние данные человека, сколько его душевные качества.

Именно таким взглядом и смотрел он тогда на “свалившуюся с неба” Валерию Сергеевну. И довольно быстро сделал выводы относительно того, что представляет собою эта женщина. То ли в силу своей хирургической профессии, приучившей к напряженному вниманию, то ли благодаря природной какой-то способности, Велешев умел мгновенно почувствовать, безошибочно определить любое, даже самое малейшее, движение человеческой души. А тут вовсе и не требовалось глубокого проникновения — все основное, что называется, лежало на поверхности.

Своевольна, упряма, эгоистична. Самолюбива до высокомерия, а посему, надо думать, и честолюбива. Должность занимает явно не рядовую, скорее всего, какая-нибудь руководительница с укоренившимися остатками комсомольского задора. Дело свое знает хорошо, решение принимает уверенно, однако похоже, что и менять их способна круто, повергая сослуживцев в полное смятение. Наверняка распекает подчиненных за малейшую оплошность, чем повергает их еще и в уныние. Но тут же может и увлечь всех каким-либо вдохновенным творческим порывом, этак простецки воцарить в коллективе родственную, едва ль не семейную атмосферу. Не исключено, что отношение к ней на работе постоянно колеблется от тихой ненависти до искреннего обожания.

А дома... Мужа явно нет — вероятнее всего, убежал куда-нибудь за канадскую границу, подобно героям известного рассказа О’Генри. Лёнька, которому она собирается позвонить, чтобы привез ей все необходимое, — это наверняка сын, восседающий за рулем автомобиля, приобретенного мамой с немалыми трудностями. Дома сын хоть и помогает, но в основном все сама. И от того, что все сама, — великая гордость. Да куда они годятся, эти мужики? Никчемное, трусливое племя — даже на дерево бояться залезть. Мы и машину можем заработать сами, и в любом другом деле обойдемся без них. А если в чем-то и трудно будет обойтись, то стоит лишь протянуть руку с раскрытой ладонью, и мужик сам запрыгнет на ладонь, окажется в кулаке. Это уж как пить дать, поскольку все необходимое для подобного фокуса имеется, и бесы в глазах всегда наготове.

Такую вот мысленную характеристику выдал ей тогда Велешев, и, как потом выяснилось, мало в чем ошибся. Несколько промахнулся только на счет мужа — тот не за канадскую границу убежал, а просто-напросто ушел к другой женщине. Ну и само собой разумеется, что такой “первый взгляд” не вызывал у Велешева ни малейшего обольщения “свалившейся с неба” Валерией Сергеевной. А уж запрыгивать на ладонь к этой даме, он и подавно не собирался.

Возвращаясь мысленно к тому дню и задавая себе вопрос “Почему так случилось?”, Велешев постоянно искал причину своего сближения с Валерией. Ну, в самом деле, — должна же быть хоть какая-то причина, основа или подоплека того, что сблизились два столь разных во всем, таких не подходящих друг для друга человека?

Пресловутой любви с первого взгляда не было, ничего, кроме невольного насмешливого интереса не было, а с какой стати тогда в районную больницу повез ее сам, не вызывая “скорую помощь”? В этот момент что двигало душой? Да вполне естественное желание — помочь поосновательней человеку, попавшему в беду вдали от родных и близких. Помочь женщине. И потому поехал, что был свободен, а иначе и не поехал бы.

А там, в больнице, почему с такой легкостью поддался ее капризу? Да просто жалко стало женщину. Подумалось, что определяют сейчас эту неутомную воительницу в какую-либо многоместную палату, собьют с нее спесь видимостью сплошной занятости и показным равнодушием, и будет ей совсем худо. Так что не ощущал он в себе особого какого-то тяготения к травмированной даме и в тот момент.

Словом, нередко изводило Велешева подобным образом мучительное недоумение по поводу того, что же все-таки послужило отправной точкой притяжения их с Валерией друг к другу, которое при стольких несоответствиях — духовных, душевных, житейских — уж никак не должно было состояться.

Но однажды он понял вдруг: да не было никакой причины тому, что они сблизились с Валерией, глупо искать и какую-то основу этого, подоплеку или отправную точку. Ничего подобного не было, а случилось все примерно так же неожиданно и необъяснимо, как запел однажды утром на ветке над самым окном соловей, обычно таящийся где-либо в зарослях подальше от человеческого жилья.

И он вспомнил вдруг с абсолютной четкостью одно странное ощущение, которое испытал, когда, оказав первую помощь Валерии на поле, везли ее в Пореченскую больницу, и она открыла глаза, некоторое время смотрела на него молча, а потом сказала, что, возможно, где-то его видела. После этих ее слов Велешеву показалось на несколько мгновений, будто что-то невидимое, но как-то по-особому осязаемое душой и кожей, повисло в воздухе над ним и ею и не отделяется от них. Теперь вот вспомнил, а тогда сразу же забыл об этом. Хм, оказывается, висело. А он искал потом какую-то подоплеку того, что связало их с Валерией, выискивал причину, отправную точку... Фадееч, и тот сразу почувствовал. И до Кутенцова, кажется, дошло, он, похоже, только притворялся, что не доходит.

“А что висело-то? — опять усмехнулся Велешев. — Над теми, которые друг другу подходят во всем, созданы, как говорится, друг для друга, — над ними, надо думать, ангелочек висит невидимый, трепещущий крыльшками. А над нами с Валерией, при всех наших несоответствиях, что же такое соизволило повиснуть?”

И ответил самому себе вслух:

— Да крест, наверно, — чего же еще. И твое сердце сразу же его ощутило.

Вряд ли это открытие было из разряда приносящих радость, но Велешев рассмеялся вдруг.

— Ага, — продолжал он. — Ты этот крест волокешь, а Валерия, нет, да и приблизится, подержится сбоку за перекладину. Вроде бы помогает, а на самом деле незаметно добавляет тяжести. Ну так что ж ты с ней делаешь...

И, наверно, Велешеву сильно не хватало именно этого открытия, именно такого смеха, потому что он сразу почувствовал, насколько яснее и спокойнее стало на душе. И на все случившееся смотрелось уже несколько по-иному.

Глава одиннадцатая

На другой день после тех мытарств, которые пережила Валерия Сергеевна в результате своего неудачного “приземления”, ее боевой романтический дух сменился если не полным, то весьма заметным смирением перед неутомимой реальностью.

А реальность заключалась в том, что ночь для Валерии Сергеевны была сущим мучением — из-за боли, особенно от реберных повреждений, которая не только лишала сна, но даже и шевельнуться, вздохнуть как следует не давала. И к утру у пострадавшей подскочила температура. Утром ей сделали необходимые уколы, ввели в том числе и болеутоляющее, и после этого, в самое неудобное время, когда и у больных, и у лечащего персонала начинаются хлопоты, Валерии Сергеевне наконец-то удалось заснуть.

Лежала она в двухместной палате, в соседстве с пожилой учительницей Анной Тимофеевной, которая учила Велешева в младших классах. Сухонькая старушка с большим сердцем, Анна Тимофеевна и держалась-то теперь на белом свете, возможно, лишь благодаря неусыпным стараниям своего бывшего ученика. Подкрепленная Велешевым в очередной раз, она чувствовала себя почти сносно и со всею щедростью сердца, которая, наверное, чем больше надрывалось, тем становилось добрее, ухаживала за своей новоявленной соседкой — подавала ей, что было нужно, поправляла постель.

Сон Валерии Сергеевны был прерван появлением Велешева, который делал обход больных, и она, распахнув свои темные глаза, глянула на него с таким неудовольствием, будто предстал перед нею не врач, а какое-то отвратительное чудище.

— Та-ак... — улыбнулся он, сразу же оценив значение этого взгляда. — Разбудил, изверг. И тем не менее — доброе утро! Доброе ведь, Анна Тимофеевна?

— Каждое утро доброе, — ответила старушка. — И каждый день тоже. Просто зачастую мы склонны приписывать им свои не лучшие качества. Здравствуйте, Павел Андреевич.

— Здравствуйте, доктор, — едва слышно, с хрипотцой, произнесла и Валерия Сергеевна.

Он присел рядом с ней на табуретку. Пришедшая вместе с ним медсестра — не Саша уже, а Лидия Петровна из другой смены — выжидательно стояла у спинки кровати.

— Вижу, Валерия Сергеевна... — сказал Велешев, решительно надевая ей на руку манжету тонометра, — невооруженным глазом видно, что поспать вам ночью как следует не удалось — мучила боль...

— Все бы ничего... — взгляд ее смягчился, в нем даже проявился нечто беспомощно-жалобное. — Только вот ребра, проклятые...

— Ну-у, зря вы их так ругаете. Это же исходный материал, из которого была создана женщина. Может, потому-то и доставляют особое беспокойство.

— Не могли уж найти другого какого-нибудь материала...

— И Создателя тоже ругать не следует. Ему было видней, из чего произвести на свет женщину. Наверное, счел мужское ребро вполне надежным материалом. Вы лучше благодарите Его за то, что решился на такое. И просите, чтоб помог вам поскорее выздороветь.

— Ладно, — попыталась улыбнуться она, — п-попробую...

Измерив ее кровяное давление, тщательно выслушав сердце и легкие, Велешев только было вознамерился осмотреть шов на бедре Валерии Сергеевны, как дверь палаты резко распахнулась, и на пороге возник высокий стройный парень, вся фигура и лицо которого выражали крайнее беспокойство. В руке у него была объемная сумка, взгляд темных, лихорадочно горящих глаз сразу же приковался к Валерии Сергеевне, и Велешев понял, что это примчался Лёнька, сын.

— Подождите пока в коридоре, — сказал ему Велешев. — Мне надо закончить осмотр.

— Извините... — растерялся тот. — Здравствуйте, во-первых... Хорошо, я подожду.

И осторожно, боком, вышел, неслышно прикрыл за собой дверь. Состоянием шва на бедре пострадавшей Велешев остался доволен.

— Бинтовать больше не надо, — обратился он к медсестре, — зеленкой обработаете — и стерильную салфеточку. Ссадины на животе — мазью. “Левомеколь” есть у нас. И тоже наклеить салфетку. И на щеке смажьте легка — быстрее корочка начнет отпадать.

Медсестра понимающе кивнула.

Потом он попросил Валерию Сергеевну показать язык, осторожно приподняв большим пальцем ее веко, глянул в один глаз, в другой.

— Голова болит? Мутит вас?

— Нет, не мутит. И головной боли особой нет. Так только — тяжело в ней, гуд сплошной.

— А в области стопы как?

— Там... вроде не очень. Вообще-то кажется, что все тело болит. А в запястье слишком туго перебинтовано — даже кисть немеет. Может, снять эту повязку? Тут я боли не чувствую, — даже кисть неудобно руке.

— Давайте снимем. Но кисть старайтесь держать в покое, в работу ее пока не особенно пускайте. Значит, основное беспокойство доставляют ребра?

— Беспокойство — не то слово.

— Понятно. С таким повреждением ребер лучше держаться в вертикальном положении — ходить, сидеть. Но вам, к сожалению, этого нельзя. Давайте-ка мы вот что... Головную-то часть у кровати можно поднять — тут специальные фиксаторы имеются. Полулежа, я думаю, будет гораздо легче — грудная клетка уже не так сильно деформируется. Мы с Лидией Петровной сейчас начнем приподнимать вас потихоньку, а вы дайте знать, в каком положении удобнее всего.

Когда Валерию Сергеевну устроили в полулежачем положении, она облегченно выдохнула:

— Господи... Конечно же так намного лучше.

— У вас все идет вполне нормально, — подводя итог, сказал Велешев. — Температура подскочила — это лишь означает, что организм ринулся в борьбу с нанесенными ему повреждениями. Сбивать мы ее не станем — она не столь уж и высокая. К завтрашнему утру, я думаю, сама придет к норме. А денюха через три вам будет уже значительно легче. Словом, все, что от вас требуется, Валерия Сергеевна, так это терпение и надежда. И... завтракали вы?

— Не хочется.

— А вот это не дело. Обязательно должны поесть. Помогать-то надо — и себе, и нам.

— Но ведь... Хорошо, я попробую. Спасибо вам... Павел Андреевич.

— Да пока вроде не за что.

— Уже есть за что, — тихо ответила она.

Велешев перешел к своей бывшей учительнице и довольно долго обследовал ее молча. А когда закончил, Анна Тимофеевна стала просить, чтобы он выписал ее домой.

— Там ведь у меня куры, — смотрела она на него снизу вверх умоляющим взглядом. — Соседей попросила, чтобы кормили их. И кошку тоже. Но разве можно так долго обременять людей? Отпустили бы уж вы меня, Павел Андреевич...

— Нет, нет и нет, Анна Тимофеевна, — явил Велешев почти суровую непреклонность. — Еще недельку как минимум.

— Да и так уж третья неделя пошла. И чувствую я себя совсем хорошо.

— Ну, это мне виднее. И я считаю, что пока не совсем. А насчет ваших кур и кошки... Давайте-ка мы вот как договоримся: в свободное от приема лекарств и других процедур время будете ходить домой и кормить их сами. Вам тут по берегу реки недалеко. Идите себе не спеша, смотрите, как течет вода, приветствуйте встречных кошек, собак и прочую домашнюю живность. Слушайте, как шумят деревья, кричат птицы и поменьше разговаривайте с людьми. Встаете вы рано, так что ходите лучше утром, до завтрака. Можно и вечером — после ужина. По часу на каждый выход — не больше, Анна Тимофеевна. Когда-то вы учили меня быть послушным, а теперь вот мне приходится увещевать вас. Ради Бога не злоупотребляйте — ни временем, ни физической нагрузкой. Вот только так если...

— Господи, — просияла старушка, — да это же прекрасное решение. Как мне самой-то в голову не пришло? А то ведь и домашняя забота тянет, и Валерию Сергеевну оставить тут одну в таком состоянии... Я уж думала: стану, дескать, полегоньку ходить к ней сюда... Мало ли кто придет на мое место — может, и воды-то будет не в силах подать. А иного попросишь о чем-нибудь раз, а в другой раз и просить не захочешь. Ох, спасибо вам, Павел Андреевич, дорогой вы мой...

— Вы, Анна Тимофеевна, — усмехнулся Велешев, — сегодня со мной чего-то уж слишком официально — не только по имени, но и по отчеству.

— Ну... В присутствии Валерии Сергеевны... как же иначе?

— Я ведь тоже просила вас, Анна Тимофеевна, — подала голос та, — чтоб называли просто Лерой.

— Так ведь в присутствии... Ну вот что, молодежь... — приосанившись вдруг, строго изрекла бывшая учительница. — Уж когда, к кому и как обращаться — этому меня учить не надо.

— Не обижайтесь, Анна Тимофеевна, — сооротив виноватую мину, ткнулся лбом в ее плечо Велешев. — Простите, до сих пор балбес.

— Пора бы уж... — едва сдерживая улыбку, постучала она ему по лбу костяшкой согнутого пальца.

Когда Велешев вышел из палаты, парень, притулившийся возле своей сумки у противоположной стены, ринулся к нему.

— Доктор... Я... Извините, не знаю вашего имени-отчества...

— Павел Андреевич. А вы, судя по всему, сын Валерии Сергеевны...

— Точно. Что с ней такое? Куда она опять влезла?

— Ну, я думаю, об этом она вам сама расскажет.

— Сильно у нее? Очень опасно?

— Да я бы не сказал. Травмировалась умеренно. Если все пойдет нормально, то недельки через две-три основное заживет.

— Гос-споди ты Боже мой... — облегченно выдохнул парень. — Хорошо, хоть так-то.

— Вы уговорите ее позавтракать. А то даже и не знаю, когда она ела в последний раз.

— Уговорю. Я тут и привез ей всего.

— Если будут у вас еще вопросы, — сказал Велешев, — то разыщите меня потом здесь где-нибудь. А сейчас я обходом занят.

— Извините, что задержал. Спасибо, Павел Андреевич. Конечно, будут, наверно, еще вопросы.

“Хм, — подумал Велешев, — вполне приятный парень. Глаза, как у матери, горяч, но, похоже, и добр. Видать, всерьез опекает ее...”

Часа через полтора сын Валерии Сергеевны разыскал его во дворе возле болярничной кухни.

— Давайте-ка мы вон там присядем, — кивнул Велешев на липу в углу двора, под которой была скамейка. — А то палит нещадно.

Когда они уселись в тени, парень достал сигареты, прикурил быстрыми нервными движениями.

— Извините, — спохватился. — А вы не курите?

— Да вообще-то бросил недавно... — ответил Велешев, и ему вдруг тоже захотелось закурить — также нестерпимо, как и вчера, когда попросил сигарету у своего водителя. — Но одну, наверно, можно за компанию, если угостите.

Парень протянул ему пачку, щелкнул зажигалкой и спросил:

— Зачем хоть на дерево-то она полезла?

— Разве Валерия Сергеевна не сказала вам?

— Как же, узнаешь у нее... Я только понял, что вы оказались там вовремя, крепко помогли ей. А вот зачем полезла...

— Она считала, что на дереве растет чага.

— Какая еще чага?

— Гриб такой лечебный.

— Господи, да зачем он ей?

— Не знаю. Может, вам это лучше известно. Вообще-то... вроде бы обмолвилась она потом — дескать, а вдруг кому-нибудь пригодится...

— Угу. Вот так всегда. Не разберется толком, что почему, куда и зачем, а главное ей — вперед и вверх. Ползла, а там, небось, и был-то какой-либо сучок трухлявый.

— Там был совсем другой гриб — обыкновенный трутовик.

— Вот, вот. То она рванет на красный свет, то она в политику влезет, то еще во что-нибудь с налету вляпается. Этого ей, наверно, только и не хватало — теперь вздумала ползть на дерево...

Было заметно, что парень сильно переволновался. Машину гнал почти две сотни километров на предельной, наверно, скорости... и чувствовалось,

что ему хочется выговориться, поделиться своими тревожениями именно с мужчиной, который к тому же оказался причастным к судьбе его матери. И потому Велешев, несмотря на ворох неотложных дел, не прерывал разговора.

— Простите, — сказал он, — вас, кажется, Алексеем зовут? Не знаю вот только отчества.

— Да нет, Леонид я. Просто Лёня — какое тут еще отчество...

— Насколько я понял, Лёня, Валерия Сергеевна тоже водит машину?

— “Водит” — это слишком ласково сказано. Когда она едет, то и у всех встречных, и у тех, кто позади, поджилки трясутся. Не говоря уж о тех, кому достается сидеть рядом с ней. Раньше у нас была “восьмерка” — старенькая, но надежная, отлично бегала. Дак маманя ее добила до того, что пришлось продать за бесценок. А теперь вот новую, — кивнул Леонид на темно-зеленую “десятку”, стоящую за оградой, — кокнула уже дважды. Но эту, слава Богу, пока не слишком.

— Значит, почти научилась. Опыт ведь сразу не приходит.

— Не знаю... — отводя взгляд, невесело усмехнулся парень. — По-моему, ей мешает другой опыт — распространять свою власть на всех, кроме самой себя.

— Но ведь вы, Лёня, очень любите мать. Это сразу заметно.

— Хм... Конечно, люблю. Это же моя мать — во-первых. А во-вторых... Как бы вам получше объяснить... Она — парадокс природы. Во многом не похожа на других женщин, всегда сама по себе, как та кошка... Она интересная. Знаете... бывают у природы такие парадоксы, которые не любить просто невозможно.

— Если так любите её, тогда все остальное не имеет значения.

— Ясное дело. Это вы очень хорошо сказали. И... ради Бога не подумайте, что я... Беспокойно за нее — потому, видать, и расквасился тут перед вами. За ней же глаз да глаз нужен. В душе вот... дрожит чего-то до сих пор.

— Я понимаю.

— Вы уж поставьте ее на ноги по-настоящему, Павел Андреевич. Я сначала-то разгорячился — давай, говорю, как-нибудь к себе, в город...

— Ее сейчас нельзя транспортировать.

— Да потом-то уж понял. И мама сказала, что здесь ей в тысячу раз лучше, что вы очень хороший врач.

— Когда-то, наверно, был таким, — усмехнулся Велешев как бы самому себе.

— А теперь не такой разве?

— Да профиль я, Лёня, поменял... — все с той же загадочной усмешкой шумно вздохнул Велешев. — И профиль работы, и профиль своей жизни. Ты не волнуйся — с твоей мамой все будет в порядке.

— И вот что я еще хотел, Павел Андреевич... Мне ведь раньше, чем через неделю, приехать не удастся — работа. Сегодня отпустили, а теперь только в выходные...

— Что же за работа, если не секрет?

— Автомобили натираю до зеркального блеска. Торговая фирма “Рено”. Вообще-то историк я — весной вот только закончил педагогический. А работа пока такая — как говорится, товар лицом... Дисциплина, порядки жесткие, но... платят хоть.

— А мама где работает? До сих пор не успел узнать о ней ничего, кроме исходных для лечения.

— Возглавляет рекламное агентство. Контора “Ух!” — так я называю.

— Беспокойная, видать, работенка.

— Она считает, что в самый раз.

— Вы, Лёня, хотели о чем-то спросить...

— Да дело в том, Павел Андреевич, что мне прямо сейчас надо ехать — отпустили-то лишь на полдня. Все необходимое я матери привез, но ведь, наверно, еще лекарства потребуются... Может, ей понадобится что-либо из магазина... Так вот я хотел узнать, с кем бы тут договориться... За плату, конечно.

— Не надо ни с кем договариваться. Аптека при больнице. Нянечка принесет все, что нужно. И в магазин по просьбе Валерии Сергеевны ходит — это тоже недалеко. Выбор в наших магазинах не ахти, но основное, думаю, имеется. Так что езжайте спокойно.

— Господи, прямо гора с плеч. Спасибо вам, Павел Андреевич. Небось, подумаете: мол, только прикатил, и сразу ходу обратно...

— Да нет, вижу, что вас толкает необходимость.

— Я постоянно буду с мамой на связи. И номер вашего телефона мне медсестра сказала. Если что — никто меня не удержит, моментально примчусь.

— Будем надеяться на лучшее.

— Ладно, заметано, — с видимым воодушевлением поднялся со скамейки парень. — А всё-таки мама, наверное, права. Мне тоже почему-то кажется, что вы очень хороший врач, Павел Андреевич.

— Знаете, Лёня... — глядя в сторону, слегка поморщился Велешев. — Когда говорят такие вещи, мне хочется куда-нибудь... глаза спрятать.

Глава двенадцатая

Через несколько дней Велешев позвонил Отроченкову, то бишь невропатологу Аркадию Фадеевичу, и тот согласился приехать к вечеру.

Велешев любил общаться с этим человеком — неизменно благодушным, всегда настроенным на глубокую мысль и тонкую шутку. Присутствие Фадеича сообщало душе какой-то особый тон — теплый и возвышенный. К тому же и внешность впечатляла. Отроченков был высок, строен, и, несмотря на то, что ему перевалило уже за шестьдесят, вся его фигура, лицо с пронизательными серыми глазами, увенчанное седой шевелюрой, излучала то, что именуется благородной мужской красотой.

Приехав, невропатолог обследовал Валерию Сергеевну по всем своим статьям, потом, несколько откинувшись, обозрел ее поверх очков всю в целом и всплеснул руками:

— Ну, голубушка... На вас тут и в самом деле что-то категорически действует в положительном плане.

— Это вам спасибо, Аркадий Фадеевич, — смущенно улыбнулась она. — Вы сумели понять меня и поверили мне. А то ведь уж притчей во языцех стало, что женщину невозможно понять и нельзя ей верить.

— Да кто ж это такую чушь мелет? — погладил ее по плечу Отроченков. — И можно женщине верить, и нужно, дражайшая вы моя! Обязательно нужно — хотя бы ради одного положительного результата из тысячи.

— Ну вот, и вы тоже... с таким саркастическим подтекстом.

— Ничего подобного, Валерия Сергеевна. Абсолютно искренне и с огромным уважением к женской сути, которая, к сожалению, не всегда столь уж легко постижима.

— Я сразу почувствовала, что вы из тех, кто способен понять женскую суть.

— Зря вы меня превозносите. Подтвердить такое я вряд ли осмелюсь. И, кстати, не одному мне вы обязаны тем, что лечитесь именно здесь. По моему, ответственность за ваше здоровье с гораздо большей решимостью взял на себя доктор Велешев.

— Конечно... — глянула она на Велешева чуть исподлобья. — Павел Андреевич тоже... очень понимающий доктор.

Выглядела она хорошо. От царапины на щеке осталась лишь розовая полоска, которая, пожалуй, даже придавала лицу некую привлекательную загадочность. Оно было в меру ухожено, хотя, может, и не требовало особого ухода, поскольку нежная кожа сохраняла вполне естественный оттенок молодости. Чувственные, словно бы слегка припухшие губы Валерии Сергеевны сообщали сейчас ее облику не свойственную возрасту, очень похожую на детскую, наивность, и прическа весьма соответствовала этому. Наверное, Анна Тимофеевна помогла ей вымыть голову — стриженные “под мальчика”

волосы, выкрашенные в соломенный цвет попеременно с темным, красиво прилегали ко лбу и сосулечками по вискам. И глаза женщины смотрели теперь совсем по-иному. Видно, докучающая постоянно боль сделала свое дело — не проскальзывал уже в глазах прежний темно-вишневый огонь, бесы из них исчезли, а появилось, наоборот, что-то этакое трогательное, покорное.

— Насколько я поняла, Аркадий Фадеевич, — сказала она, — мне уже не возражается восстать из горизонта?

— Неправильно поняли, голубушка. Еще недельку придется побыть в горизонте. Окулисту надо глянуть у вас глазное дно. Препараты хорошие вам пропишу — надо прокапаться, проколоться. У вас заметное улучшение и пока никаких тенденций к ухудшению. Вот это мы и должны бережно сохранить. Вы ведь и так уж почти сидите.

— Если бы вы знали, какое мучение от ребер в этом самом горизонте. Хоть бы ненадолго переменить положение — посидеть по-настоящему или пройти по палате. Я бы держалась за кровать, за стенку...

— Ну... Ладно, для улучшения кровообращения разрешаю посидеть... не больше пяти минут. Как, доктор Велешев?

— Пожалуй, можно, — едва заметно улыбнулся тот.

— Господи Боже мой... — с явным облегчением выдохнула Валерия Сергеевна. — Да преогромное спасибо и на этом.

Отроченков снял очки и, слегка сощурившись, посмотрел ей в глаза:

— Только уж, пожалуйста, подавляйте склонность к злоупотреблению. Если сумеете вести себя благопристойно, как говорится, в соответствии, то гарантирую вам... что момент вашего окончательного подъема из горизонтального положения будет не менее прекрасным, чем восход солнца в период майского цветения деревьев и трав.

— О-о-ой... Аркадий Фадеевич, дорогой вы мой... — реберная боль мешала ей смеяться. — Ни... никогда... никто... не говорил мне таких комплиментов. Ей-Богу... вы же переплюнули этих... из “Тысячи и одной ночи”...

— Наслаждайтесь, милая, — отечески-покровительственно погладил ее по голове Отроченков. — Пользуйтесь, пока я ношу по этой поруганной земле свое брненное тело.

— О-о-ой, спасибо...

Велешев попросил Фадеева — кстати уж — обследовать и Анну Тимофеевну, еще нескольких больных.

Когда Отроченков приезжал, Павел Андреевич всегда старался использовать его “на полную катушку”.

— Эксплуататор ты, Паша, — вздохнув, покачал головой невропатолог. — А на компенсацию-то хоть можно рассчитывать?

— Обижаетесь, Фадеев. Компенсация уже маринуется.

— Ура. Значит, опять засандалим шашлычок?

— Да мог бы и не спрашивать. Традиция ведь уже.

— Ну, тогда я обследую твоих больных со всевозможным тщанием, родной ты мой.

У них это и в самом деле уже превращалось в традицию. В день, когда ожидался приезд Отроченкова, Велешев вручал своему завхозу Евсеевну деньги и говорил: “Фадеев придет”. И Евсеевна с радостью, как будто ожидался приезд ее близкого и желанного родственника, привозила откуда-то свежайшей баранины, в крайнем случае — свинины. И неизменно держала на большой кухне все необходимые специи. Мясо для шашлыка Велешев, улучив время, готовил сам — он знал, какой формы и величины должны быть куски, чтобы во время жарки они сохранили аппетитную сочность, сколько и чего нужно для того, чтобы мясо промариновалось наилучшим образом.

Когда Отроченков закончил обследование больных, главврач забрал с кухни кастрюлю с мясом и повез приятеля к себе домой. На велешевском дворе, поросшем густой мелкой травой, стоял в самом центре выдвинувший видны мангал, а неподалеку от него — стол и две скамейки. Почти по всему периметру двора цвели цветы — флоксы, тигровые лилии, дельфиниум, люпин, гладиолусы и еще какие-то высокие, которые только собирались зацве-

тать. Фадеич никогда раньше не попадал к Велешеву в пору такого буйного цветения и потому был крайне удивлен — некоторое время стоял молча, оглядывая все это великолепно.

— Ну и ну... — обрел он наконец дар речи. — Оказывается, доктор Велешев еще и цветы выращивает... Когда же успеваешь-то?

— Да они почти все многолетние. Жена рассадила, когда была жива. А я перекапываю вокруг них весной — вот тебе и все выращивание. Только луковицы гладиолусов вытаскиваю из земли на зиму — храню в подполе. А потом втыкаю опять — в память о Людмиле.

— Хм, тебе бы еще павлина сюда, чтобы он среди цветов расхаживал.

— Ага, на фоне сарая, который совсем уж почти развалился, потому что руки до него не доходят, павлин смотрелся бы поистине великолепно.

— Нет, ну все равно же удивительно — шашлык среди такого оазиса...

— Я сейчас сразу насчет дров, — направился к сараю Велешев. — Березовых надо выбрать...

— Не лезь. Без тебя знаю, какие надо выбрать. Иди лучше переодевайся, кромсай овощи да хлеб к шашлыку, готовь... чего еще там у тебя припасено. И даже близко не подходи ко мне — не вздумай давать советы, да и вообще стоять над душой.

Так уж у них повелось — мясо мариновал хозяин дома, а шашлык жарил Фадеич. И делал он это поистине мастерски.

— Тебе бы тоже не мешало переодеться, — сказал Велешев.

— Предусмотрено, — кивнул Фадеич на сумку, которую держал в руке. — Взял с собой спортивный костюм — вдруг, думаю, доктор наук ночевать оставит...

— Конечно, придется оставить, — не остался в долгу Велешев. — Неужели на ночь глядя гонять из-за тебя Володю в райцентр.

— Ага. Машину в райцентр можно гонять только из-за прекрасных дам...

— Это было не на ночь глядя. И потом — она пострадавшая.

— Ладно, посмотрим, кто у нас окажется воистину пострадавшим.

— Чего это ты каркать-то взялся?

— Я ворон хоть и не черный, но многое и многих повидавший.

— Но сейчас ты, по-моему, в чем-то ошибаешься.

— Я не слепой ворон. Так что посмотрим.

Через некоторое время хозяин дома носил во двор и размещал на столе тарелки, вилки, бутылки, потом резал хлеб, нарезал крупными дольками огурцы, помидоры. А Отроченков “колдовал” над мангалом. Мурлыча себе под нос какую-то немудреную мелодию, он безостановочно крутил над углями шампуры с мясом, перекладывал их — одни справа налево, другие слева направо, время от времени настороженно водил над ними своей широкой ладонью. И при этом мужчины не говорили друг другу ни слова.

Велешев знал об Отроченкове совсем немного — тот почти никогда не говорил о себе. Знал, что Фадеич тоже одинок, что в молодости он жил в Москве и был женат, а потом разошелся с женой и, оставив ей сына, уехал сюда, в районный город. И здесь больше уже не женился.

Однажды, когда на душе, наверное, было совсем уж скверно, Фадеич открыл Велешеву одну свою тайну — рассказал, что несколько лет назад сын его, взрослый уже, попал там, в Москве, в тяжелую историю, вроде той, когда человека ставят “на счетчик”. Чтобы его выкупить, матери, то есть бывшей жене Отроченкова, пришлось продать квартиру, и он, Фадеич, тоже вынужден был напрячься до предела — выгрел у себя все, что имелось, обзанимал всех состоятельных знакомцев, да к тому же ссуду взял. Как раз в те времена, когда все еще выплачивал свои непомерные долги, он и рассказал об этом Велешеву.

Еще Велешев знал, что Отроченков слывет неисправимым ловеласом, что от женщин у него и до сих пор отбоя нет. Да это и не слишком удивляло, поскольку он был очень привлекателен своей мужской статью, тонким ироничным умом и добрым характером.

Приготовив на столе все необходимое, Велешев некоторое время сидел, ждал молча, но потом-таки не выдержал — встал и приблизился к мангалу.

— Может, хватит? — машинально заговорил он, приглядевшись к шашлыкам. — Как бы не пересох...

— Отстань.

Велешев ретировался на свое место и еще минут пять наблюдал, как Фадеич с отрешенностью колдуна водит ладонью над шашлыками. Наконец специалист сгреб шампуры в единый букет и ринулся к столу.

— Та-ак... Быстренько наливай. А то ведь он остывает мигом.

Велешев разлил по рюмкам коньяк и спросил:

— За что пьем?

— Давай говори.

— Нет, Фадеич, лучше ты. Безоговорочно признаю, что равных тебе нет и в этом деле.

— Ладно, сосредоточиваюсь. — Отроченков поднял рюмку, полюбовался коньяком на угасающем солнечном свете и проникновенно глянул Велешеву в глаза. — Давай, Паша, выпьем за то, чтобы правильно видеть божественную ткань жизни.

— За это стоит. Очень даже стоит.

— Ну и поехали.

Они выпили и набросились на шашлык — ели не снижая, прямо с шампуров.

— Ух, ты... — подстанывал Велешев. — Самый-самый — вкусоптищато... Колдун ты, Фадеич, маг. Волшебник ты.

— Моих — только полдела, — великодушничал тот. — Что это будет за шашлык, если мясо замариновано кое-как, чего ты туда хоть добавляешь-то этогого забористого?

— Знаю, чего.

— Ну вот видишь — и к тебе не подходи.

Минут пять они срывали зубами мясо с шампуров молча, потом Отроченков положил вдруг на тарелку свой шампур, на котором оставалось два кусочка, и сказал:

— Знаешь, Паша, я тут подумал... Есть еще за что выпить.

— Да и пора уж, — без промедления наполнил рюмки Велешев. — А то шашлык настолько хорош, что между первой и второй у нас не только пуля пролетела бы, но, наверно, можно было бы истратить пару пулеметных лент.

— Так вот я о чем подумал. Мы ведь чем дальше, тем ценнее становимся. Правда, это мало кто замечает... Давай, брат, выпьем за то, чтоб ни в коем случае не стариться, пока совсем не поумнеем.

— Ух, Фадеич... колдун ты мой...

— Пойдет?

— Поехали.

И опять продолжали молча насыщаться шашлыком — теперь уже неторопливо, чередуя мясо с овощами.

— Ты, Фадеич, тоже один живешь... — не поднимая глаз, сказал Велешев. — По себе знаю, что в общем-то... нелегкое это бытие...

— Стой! У нас еще третьего тоста не было.

— Ладно, давай третий тост.

— Нет уж, брат. Хватит филонить. Третий тост за хозяином дома.

— Что ж, придется произносить.

Велешев наполнил рюмки и, подняв свою, молчал несколько мгновений.

— Я думаю, Аркадий Фадеич, нам с тобой здорово повезло, — начал он наконец. — По-моему, мы очень легко и правильно понимаем друг друга. Даже твоих два тоста... Вот сижу сейчас, и кажется, будто сказанное тобой и в моей душе было тоже. А ты взял, да и выдал за двоих...

— Да мне стоит глянуть в твои чистые волчьи глаза — и сразу чую, о чем думаешь.

— Ну вот, и ты туда же — “волчьи”...

— Значит, я не первый? Да кто ж виноват, брат, если они у тебя с такой же ясной прозеленью, как у волка? Наверное, даже могу представить их себе в тот момент, когда ты злишься.

— Я стараюсь ни на кого не злиться. Хотя... пока еще не всегда удается. Слушай, Фадеич, ты же вроде бы просил меня произнести тост.

— Произнесешь. Неужели при таком великолепном шашлыке и коньяке я не имею права дать волю дружеским чувствам? Да, конечно, Паша, — посерьезнел Отроченков, — истинное мужское взаимопонимание дорогого стоит, особенно в наше паскудное время.

— Так вот — давай выпьем за то, чтоб оно нам никогда не изменяло.

— Это очень хороший тост, Пал Андреич. Это мудрая задача, поставленная вовремя.

— Пьем?

— Пьем синхронно!

Глава тринадцатая

Закусывали теперь уже почти нехотя и по большей части овощами. И длилось это не слишком долго — Фадеич встал, подошел к изогнутой трубе, именуемой “гуськом”, в которую подавалась из дома вода, и открутив вентиль, вымыл руки, вытер их висящим тут же, на веревке, полотенцем. Вскоре последовал его примеру и Велешев. Когда уселись опять за стол, Велешев досадливо поморщился:

— Тьфу ты, зараза... Как же курить хочется...

— Хм, возьмем да и закурим. У меня есть.

— Да ты ведь не куришь, Фадеич.

— Давно бросил. А сигареты всегда ношу с собой. Бывают моменты, когда можно с ума сойти, если не закуришь. Сейчас, конечно, совсем другой момент, но... из солидарности и во имя взаимопонимания.

— Ты в самом деле волшебник.

— Ну, это волшебство не из лучших.

Они закурили, и Отроченков напомнил вдруг:

— Ты, Паша, что-то там насчет нашего с тобой одиночества хотел...

— Я хотел сказать... Мы ведь всегда среди людей... Работаем не жалея сил, помочь стараемся людям. А ведь все равно порой... очень одиноко. Ну и... просто решил узнать: у тебя так же?

— То же самое.

— Знаешь... — сосредоточенно смотрел в сторону Велешев. — Иной раз такое ощущение, будто одиночество припирает к стене, загоняет в угол, готово распыть. И на природе, среди удивительной красоты... там я чувствую себя порой так, словно оно распяло меня. Знакомо тебе это?

— Одиночество среди красоты? Да, там оно во много раз острее.

— Значит, и ты это испытал. И все чаще думается, что одиночество — медленное самоубийство.

— Да, порой так кажется. Но на самом деле, наоборот, — спасение.

— Помилуй, спасение — от чего?

— Да от греха, от чего же еще. На высшей точке своего сознания человек всегда одинок. Не мною сказано — и до нас с тобой люди мучались этим, всерьез размышляли на эту тему. И ты... я считаю, что ты потому и бросил свои знаменитые операции на сердце, престижное житье-бытье, оказался здесь потому, что приблизился к этой самой точке.

— Я оказался здесь потому, что совался со скальпелем во многие человеческие сердца, а моя мать умерла от длительной болезни сердца.

— Знаю. Вот это, скорее всего, и стало мощным толчком к высшей точке твоего сознания.

— Хм... Возможно... Только ведь, когда я навалился тут на дела, а потом приехала Людмила, и стали жить вместе, не было и тени одиночества. Наоборот — каждый день приносил радость, и отношения наши становились все теплее. И природа — мы с Людой частенько выбирались на природу — не печалила, одухотворяла неимоверно. А вот когда Люды не стало, то на меня обрушилось такое жуткое одиночество, что показалось, будто я один, и никого больше нет на всем огромном пространстве земли.

— Понятно. Это был второй мощный толчок к высшей точке.

— Ты что же — хочешь сказать, что я сейчас нахожусь на этой самой точке?

— Сейчас вряд ли. Иначе не давил бы сегодня такого внимательного косяка на пострадавшую при падении с дерева Валерию Сергеевну.

— Какого косяка я давил? Откуда ты взял? Ты и видеть-то не мог, куда я смотрю, — сидел возле нее ко мне спиной.

— Так я же ворон, хоть и белый. Спиной ощущал твои горячие взгляды, устремленные на эту даму.

— Да брось уж выдумывать-то. Спиной он ощущал...

— Неужто станешь утверждать, что у тебя к ней ни малейшего интереса?

— Ну почему же... Необычный экземпляр женщины. Полезть на дерево, чтобы достать то, не знаю что...

— Вот-вот. Именно так оно и начинается. Все женщины вокруг обычные, а эта необычная. Все женщины сроду и не глянут, что там на дереве растет, а эта полезла доставать то, не знаю что... И начинаешь лепить из нее в своем воображении этакую невероятно интересную, своеобразно-умную, а потом и близкую сердцу. Поверь уж мне — хоть ты и не показываешь вида, а небось ведь знаешь, что сидит перед тобой прославленный бабник. Наверняка успели просветить.

— Никто меня не просвещал. И кончай ты свои фантазии. Мы с тобой говорили совсем не об этом.

— Мы с тобой говорили именно об этом. Дело в том, что человеку очень трудно удержать себя на высшей точке своего сознания — он же одинок. И многие — да подавляющее большинство! — спасаются от тяжести этого одиночества, спускаясь с высшей точки на более низкую.

— Ну, Фадеич... — во все глаза смотрел на него Велешев, — и выкладки у тебя...

— Да не мои они — говорил уже. Я только проверяю их правильность на собственной шкуре. И потому с уверенностью могу сказать: те, кто нарадался от одиночества на высшей точке, спасение найти пытаются в первую очередь в женщине. И в этом имеется определенный резон. Мужская дружба, взаимопонимание между мужиками конечно же великое дело. Но вот, к примеру, уеду я завтра утром, а вечером одиночество навалится на тебя еще сильнее. Придешь с работы, начнешь потерянно вращаться по кухне — во имя поддержания своей житейской дисциплины готовить что-либо кое-как для одного себя. Будешь нехотя есть какую-нибудь сморщенную сосиску или, наоборот, подхватывать все с тарелки и жевать с такой скоростью, словно за тобой гонятся, — лишь бы только побыстрее отвязаться от еды. А потом начнешь с раздражением — если не с отвращением — мыть посуду. И одиночество будет давить тебя и давить...

— Надо же, — качая головой, усмехнулся Велешев, — насколько точная картина. Все именно так.

— Стоит ли удивляться? Эти симптомы, как и симптомы любой другой болезни, у всех у нас одинаковы. Так что, Паша, наше с тобой истинное взаимопонимание, пожалуй, может усилить движение лишь в том направлении — к высшей точке сознания. А, значит, усилит и одиночество. А вот женщина именно оттягивает оттуда. Она же без конца мельтешит перед глазами, крутит домашние дела и вне дома что-то там для тебя кумекает. С ней ты ложишься в постель, растворяешься в ней, а она растворяется в тебе. Сознание твое притупляется, приземляется, и одиночества как не бывало. Но это, брат, до поры до времени. Кто однажды побывал на высшей точке, даже хотя бы вблизи, у того душа рано или поздно опять начнет проситься туда. К тому же попробуй найти женщину, которая умеет солить всегда в меру. Найдется, может, одна из миллиона. Они же то пересолят, то недосолят... И этот пересол-недосол в отношениях, в конце концов, приводит тебя к мысли, что как-то низковато стал ты жить — то ли ходишь, то ли ползаешь... И снова наваливается одиночество, которое при ней, пожалуй, гораздо тяжелей, чем без нее. И ни она, ни любая другая не пойдет за тобой туда, на высоту. Опять же — если только одна из миллиона. Но такие, словно по чьей-то злой прихоти, достаются гнусным мужикам или точно так же, как и мы с тобой, волокут на себе невидимый, но тяжкий крест одиночества...

Глава четырнадцатая

Приходилось только диву даваться, как быстро у Валерии Сергеевны все заживает. К следующему приезду Отроченкова — а со времени его первого визита прошло немногим больше недели — у нее и швы на бедре были сняты, и гипс со стопы она упростила снять, поскольку уже не боль беспокоила, а кожный зуд под гипсом. И корочка с обширных ссадин на животе почти вся отпала. Продолжали доставлять беспокойство поврежденные ребра, но и тут боль появлялась лишь во время смеха или кашля, да еще когда приходилось поворачиваться в лежачем положении с одного бока на другой.

— У вас удивительно жизнестойкий организм, — сказал Велешев. — У шестнадцатилетних, и то не у всех так быстро заживает.

— Я дочь морского офицера, — ответила она. — Родилась в Заполярье, среди крепкого народа. Так что... как говорится, знай наших.

— Отец-то жив?

— Папы давно уже нет. В походе погиб — устранял в подлодке какую-то страшную аварию. Я тогда маленькой была — помню только, что очень его любила. И вот уж третий год, как не стало мамы.

— Выходит, сироты мы с вами.

— У меня-то Лёнька есть. А вот вам... Анна Тимофеевна мне рассказывала...

— Ничего, как видите, все в порядке.

— Да, обстановка тут у вас удивительная. Мне хоть болячки эти и досаждают, а на душе хорошо от всего. Давно так не было.

— Что ж, приятно слышать. И слава Богу, что у вас такое настроение.

— А я, Павел Андреевич, ведь в самом деле видела вас раньше. И вспомнила, где.

— Хм, где же это?

— Там, в городе. Была однажды у Нины Болотиной на дне рождения, и вы туда пришли.

— У Нины? Вы знаете Болотиных?

— Мы с Ниной довольно долго были в приятельских отношениях. Сдружились, когда она работала в поликлинике по месту моего жительства. А потом перешла в городскую больницу, и как-то незаметно потеряли мы друг дружку.

— Надо же... Что тут можно сказать, кроме избитой фразы “мир тесен”? А я дружу с Болотиными с институтских времен. Сергей — главный врач клиники, в которой я работал.

— Сдается мне, — улыбнулась Валерия Сергеевна, — что относились вы к своему начальнику не ахти как почтительно.

— И откуда же такое заключение? Интересно, в каком ракурсе вы меня видели у Болотиных. Я-то вас что-то вот не запомнил.

— Да где там запомнить... Вы пришли, когда все уже сидели за столом. Поздравили Нину цветами, выпили для порядка и тут же утащили Сергея Акимовича в другую комнату. И слышно было, как разговаривали там, — довольно громко и, по-моему... Резкость была с вашей стороны. Потом опять сели за стол, и кто-то обратился к вам. А вы глянули на этого кого-то и оглядели всех таких взглядом... Таким...

— Волчьим — хотите сказать?

— Честно говоря... именно таким. И посидели вы тогда с нами всего минут десять. Болотин вышел следом за вами в прихожую, и опять вы там что-то доказывали ему на большом серьезе. Я Нину спрашиваю: “Это что за волчара такой?” А она, с беспокойством глядя туда, в сторону прихожки, отвечает рассеянно: “Велешев”. Я уставилась на нее: “Тот самый?” Нина глянула на меня раздраженно: “Конечно, тот самый — профессор Велешев”. Ну, не припоминаете такую ситуацию?

— Кажется, припоминаю, — слегка прикрыл глаза Велешев. — Была у нас тогда в клинике одна очень острая проблема.

— Так вот. С той поры уж едва ль не целая вечность прошла, и когда я лежала под березой, а мои мужики пытались вам объяснить, как я упала

да чем ударились, вы глянули на них точно таким же взглядом. То есть глаза ваши вспомнила, этот взгляд с холодной прозеленью, а где могла видеть вас раньше, никак не вспоминалось. И только уж когда узнала вашу фамилию, когда Анна Тимофеевна о вас рассказала, то все стало ясно.

— Ну все-то вряд ли вам ясно... — вздохнул Велешев. — Как ваша голова, кстати? — вскинул он глаза. — Не болит?

— Нисколючко. Вы бы уж разрешили мне ходить, Павел Андреевич.

— Да вы и так ходите без зазрения. Я видел.

— Это я здесь немножко. А знаете, как хочется на свежий воздух. Там, за окном, березы над рекой и скамейка под ними...

— Подождите немного. Вот Аркадий Фадеевич придет — и, я думаю, разрешит.

— Экий вы формально-неуступчивый все-таки.

— Быстро же вы забыли о моей уступчивости, — усмехнулся Велешев.

— Ой, в самом деле... Извините. Хорошо, я подожду.

Сын ее приезжал, как и обещал, — опять привез матери всякой съедобной всячины, которой она потом щедро потчевала Анну Тимофеевну, нянечек и медсестер. Лёнька и на этот раз отыскал Велешева, вынул из сумки блок добротных американских сигарет, какую-то едва ль не раритетную зажигалку и протянул ему.

— Да что вы, Лёня! — отгородился ладонями Велешев. — Я же бросил курить! Никаких...

— Оставьте, Павел Андреевич, — невозмутимо предложил тот. — Сами не курите — годятся для гостей. Я хотел коньяку хорошего купить, да подумал — еще сочтете за взятку. А это уж вроде бы так, чисто по-мужски.

— Да лучше бы уж на коньяк потратился.

— Ладно, в следующий раз привезу коньяк.

— Да Боже тебя упаси! Я сказал исключительно по-отечески.

— Привезу, привезу. Исключительно по-сыновнему.

— Ты в маму, что ли, упрямый такой?

— Яблоко от яблони... — улыбался Лёнька, и жуковые глаза его светились изнутри. — А вы, Павел Андреевич, наверно, гений. Она ведь почти в норме.

— Это мама твоя гений. Истинный гений жизнелюбия. В ней все жадно любит жизнь, потому так и перемальваются нанесенные ущербы.

— Имеется в ней такое. Она мне сказала, что вы серьезный ученый — доктор наук.

— Теперь я стараюсь быть серьезным человеком прежде всего — то есть не упускать из виду главного в жизни.

— Наверно, интересная у вас судьба.

— Сложная, Лёня. Мне нравится твое отношение к матери. Дай-то Бог, чтоб оно оставалось таким всегда. Многое зависит именно от этого.

— Это замечано, Павел Андреевич.

Велешев лишь после вспомнил, что во время разговора с парнем незаметно для себя перешел на "ты". Но тут же и отметил, что Лёньке это, похоже, пришлось по душе.

Отроченков приехал, как всегда, к вечеру. Простучав Валерию Сергеевну повсюду своим неизменным молоточком, обследовав ее по всем необходимым параметрам, он отодвинулся вместе с табуреткой и, оглядев по привычке пациентку на расстоянии, длительно вздохнул:

— Все бы ничего, голубушка, но одно обстоятельство меня весьма настораживает.

— Что такое? — заметно взволновалась она.

— Да знаете ли... После столь значительного ущерба, добровольно нанесенного вами своему здоровью и обличью, да если еще учесть, что с момента вашего стремительного возвращения на нашу грешную землю прошло не так уж и много времени, у вас, дражайшая моя... невероятно оборотительный вид. Каково на этот счет ваше мнение, доктор Велешев?

— Это обстоятельство мною отмечено и одобрено, — сдержанно улыбнулся тот.

— Однако при таком обстоятельстве, коллега, — не теряя серьезности, сказал Отроченков, — за самочувствием пациентки необходимо следить с особым вниманием.

— Что ж тут опасного? — пожала плечами Валерия Сергеевна. — Вы же сами сказали, Аркадий Фадеевич, что мой подъем из горизонта будет равнозначен... чему? Как вы там падишахов-то переплюнули?

— Да что нам падишахи, — невозмутимо продолжал Отроченков. — Своей головы, что ли, у нас на плечах нет? Разумеется, я доволен точностью своего прогноза, Валерия Сергеевна. Поистине — воссияли.

— Но тогда что же вас настораживает?

— Слишком уж стремителен ход выздоровительного процесса. Хоть и бывали в моей практике подобные случаи, однако опыт все-таки призывает к осторожности — вдруг да проявится в самочувствии нечто неординарное.

— А что неординарного может проявиться в выздоравливающем организме? — в ее глазах запрыгали чертики. — По-моему, в таких случаях проявляется все только истинно здоровое.

— Не всегда. Отнюдь не всегда, голубушка. А посему лучше все-таки соблюдать осторожность.

Велешев смотрел на них, и по его лицу блуждала едва заметная усмешка.

— Может быть, не к чему так уж сильно перестраховываться, коллега? — переводя взгляд на окно, сказал он. — Давайте будем надеяться на лучшее.

— Вот видите, Аркадий Фадеевич, — склонив голову на бочок, уставилась Отроченкову в глаза Валерия Сергеевна. — Доктор Велешев не склонен к серьезному опасению.

— Доктору Велешеву, конечно, виднее... — спокойно выдерживая ее насмешливый взгляд, вздохнул невропатолог. — Он вас каждый день наблюдает. Что ж, давайте надеяться на лучшее...

По традиции Отроченков осмотрел еще нескольких больных, и Велешев — опять же в поддержание традиции — объявил ему:

— Компенсация, Фадееч, сегодня будет другая. Мне утром стерляди привезли.

— Уха стерляжья... — простонал тот. — Рюмка холодной водочки под нее... Запоевшая рюмка... Боже, чего я лишуюсь... Не могу, Паша, остаться — надо ехать.

— Что такое? Почему? — опешил Велешев, уже настроившийся было на предстоящее пиршество.

— Меня сегодня ждут-с. Моя грозилась приготовить какое-то небывалое рагу. Овощное... — слегка поморщился Фадееч.

— Ну, мы с тобой по-быстрому как-нибудь, а после ухи помчишься на свое рагу.

— Уха по-быстрому, как-нибудь — разве это уха, кощун? Нет, брат, не стоит обижать рыбу. И женщину эту я никак обидеть не могу. Жаждет ведь все-таки накормить меня, и вот уже пятый месяц, как ничего не пересолила. И недосола, знаешь ли, вроде бы не наблюдается.

— Дай-то Бог. Она с тобой или проходящая?

— Она с собой, а я проходящий.

— Зовут-то хоть как? Извини за дружеское любопытство.

— Ты представляешь... Людмила.

— Ну... дай-то Бог. Так неужели хоть на минутку-то ко мне не заскочишь? Хоть по рюмахе за встречу. Сестра мне малосоленных огурчиков принесла.

— Да если я еще и от этого откажусь, тогда меня расстрелять надо через повешенье. И с конфискацией имущества.

Дома Велешева вдруг осенило.

— Слушай, Фадееч, — сказал он. — Ты стерлядь с собой возьмешь — Людмиле будет приятно.

— Конечно, с отвращением смотреть на такой подарок она не будет. Половину возьму.

— Всю рыбу бери. Не стану же я возиться с ухой для одного себя.

— Да ты не горячись — вдруг придется угостить ухой еще кого-нибудь. Стерляжья — она, знаешь ли, очень располагает...

— Кого мне угощать? Фердинанда, что ли? Никакого почтения от него, и этому проходимцу — стерлядку?

— Не ругайся на кота. И зови, как положено, — Федором. Тебя же дома нет по целым дням — на его месте и я бы стал проходимцем. И потом — если ты устойчиво недоступен для женского пола, то это вовсе не означает, что Федор должен подражать своему хозяину. А рыбы я возьму только половину — у единомышленников все должно быть поровну.

— Фадеич, — спросил Велешев после недолгого молчания. — У нашей пациентки, в самом деле, что ли, какой-нибудь неполадок по твоей линии?

Тот сосредоточенно хрустел огурцом и с задержкой ответил вопросом на вопрос:

— А по твоей линии у нее как?

— Да, пожалуй, можно бы и отпустить...

И вдруг через раскрытые двери явился со двора Федор — видимо, его привлек запах рыбы. Он молча уселся посреди кухни и устремил на восседающих за столом мужчин требовательный взгляд. Чувствовалось, что это сильный кот, с твердым характером. Шерсть у него была мышиного цвета, короткая и плотная, а на щеках пышная, что придавало ему весьма внушительный вид. А глаза с прозеленью удивительно напоминали велешевские.

— Ну вот, — проворчал Велешев. — Явился — не запылится — легок на помине. Рыбой запахло. Сядет вот так, молча, и всю душу тебе вымотает своим взглядом — сам есть не будешь, а ему отдашь. Дома все время молчит, а мяукает, наверно, лишь возле своих кошечек. Я для него существую, только когда он хочет есть. А поест — и опять кошки для него дороже всего.

— Вам обоим жилось бы намного легче, — сказал Отроченков, — если бы ты относился к женщинам хотя бы на десять процентов так же, как он относится к своим кошкам. Он мне нравится — настоящий мужик. Дай ему рыбы, а то я дам из своей.

— Да что с вами, упрямыми, поделаешь... — покорно полез в холодильник Велешев.

Он достал стерлядку и, отрезав от нее половину, бросил коту. Федор издал громкое мурлыканье, похожее на хриплый вздох, и старательно принялся за работу.

— Так ты не ответил мне насчет Валерии Сергеевны, — уселся на свое место Велешев. — Окулиста Володя привозил, заключение ты читал...

— По-моему, рановато ее выписывать. Сотрясение ведь все-таки. Пусть окулист глянет глазное дно еще разок... Инъекции надо продолжить — укрепить организм не абы как.

— Хоть убей, а чуется мне, Фадеич... темнишь ты чего-то.

Тот положил вилку, вздохнул и посмотрел Велешеву в глаза.

— Хотелось тихой сапой отделаться. Федор тебя отвлек — чуть было не помог мне, ан похоже, не получится. Да не ищи ты тут, Паша, никакой темноты — нет ее. Просто жалею человека, не хочу ставить ее в трудное положение. И тебя, между прочим, тоже.

— Ее, меня?.. Какое трудное положение-то?

— Если выписать ее сейчас, — опять вздохнул Отроченков, — то ей придется уезжать. А возвращаться сюда будет трудно — возникнут определенные сложности.

— С какой стати ей возвращаться-то? — устремил на него напряженный взгляд Велешев.

— И тебе будет нелегко, — словно не слыша его вопроса, продолжал Отроченков. — Душа мыкаться начнет — как бы увидеть ее, какой бы найти предлог, чтобы встретиться...

— Да откуда ты взял...

— Стоп! — звучно приложил к столу ладонь Фадеич. — Если вытащил меня на эту прямую, то слушай. Ты, доктор Велешев, настоящий, ты золотой мужик. Но ты очень трудный мужик — понял? Это надо же — так тя-

жело ему двигаться навстречу женщине... Ведь ее тянет к тебе, а тебя к ней. Это за версту видно. А ты держишь себя за глотку, не веришь самому себе. Ей можешь не верить, а себе-то поверь хоть. Одичал вконец, даже у kota твоего глаза стали такие же, как у тебя, — словно у одинокого волка...

— Но ты же говорил, что боишься за меня, что она...

— Поначалу, да, боялся. По себе судил. А в конце того разговора — помнишь, что я тебе сказал? Сказал, что уже не боюсь. Открылась мне тогда в тебе одна удивительная штукавина, которая убедила, что не стоит бояться. Постоянно думал потом над всем этим и дошло до меня: готовится доктору Паше новый толчок, и мне ли, непутовому, предотвратить его? Да и не стоит предотвращать — это бесполезно. А вот смягчить немного — другое дело. Ты же безоглядный — идешь, не замечая, откуда и что тебе готовится. Ни к отражению, ни к смягчению не привычен. Жалуешься вот на kota, ворчишь на него, а он ведь один целыми днями, и что ему твое дело, твоя цель, твои мысли... Его не только накормить, но и приласкать надо, а ты этого не замечаешь. Трудный ты, потому и бьет тебя так страшно. Вот я и хотел, чтоб как-нибудь помягче устаканилось все, без острых углов, которые лишний раз могут царапнуть по сердцу. Но, помимо того, меня еще и не покидает уверенность, что именно сейчас, именно через это тебе необходимо пройти.

— Надо же, как здорово ты все решил за меня.

— Да что ж делать, если у тебя не решается. Наставил вокруг себя загорожок, от которых сам же потом и будешь мучаться. Самое время снести их к чертовой бабушке. Вот скажи: хоть однажды задумывался ты над тем, что эта женщина упала сверху прямо тебе в руки, и, несмотря ни на какие заковыки, тебе нравится именно эта женщина?

— Думал вообще-то...

— Хорошо, хоть признался, что она тебе нравится. А скажи: такое падение в руки часто бывает, особенно в твоём возрасте?

— Такое... не бывает почти никогда. Потому в это и не верится.

— Но это есть. И постарайся в это поверить. Знаешь, почему еще я так наваливаюсь на тебя?

— Да уж, наваливаешься... Так почему же еще-то?

— Потому, что, наблюдая за этой твоей эпопеей, я, кажется, начал понимать главное, чего не мог понять много лет. Вот говорят: от тюрьмы да от сумы не зарекайся. А мне хочется добавить: и от любви тоже. Она всегда приходит неожиданно. Как проблеск молнии в ночи — внезапно осветит все вокруг и в самом тебе, и долго носишь потом в душе словно бы отпечаток этого невероятного яркого света. Сума да тюрьма — дело жертвенное, а любовь и подавно. А если нет жертвы — это не любовь. И мы... Чему только мы не приносим себя в жертву, а тут порой чего-то жмемся, пасуем... и упускаем момент. Бывает, что и навсегда. Пыжимся потом, ждем, ищем и на жертву готовы, да только не проблескивает уже больше нигде. Я всей своей опытной шкурой чувствую, что между вами-то как раз проблеснуло. И к этому, Паша, надо повернуться лицом, а не спиной...

— Давай, Фадееч, еще по одной, — предложил Велешев.

— Давай “на посошок”, иначе непорядок.

Они выпили, стали зажевывать огурцом, и кот Федор, управившийся с куском стерлядки, воспользовался затишьем — прыгнул к Отроченкову на диван и улегся рядом, положив голову ему на колено.

— Понял? — глянул на Велешева Фадееч. — Твой молчаливый Федор уже успел уразуметь, что если бы не я, то не видать бы ему стерлядки, как своих ушей.

— В самом деле, — покачал головой Велешев, — впервые он так проникся к тебе...

Отроченков погладил kota, и тот замурлыкал как-то по-особому — нутром, словно пытаясь скрыть это мурлыканье.

Велешев с минуту сидел молча, смотрел светлым своим взглядом в одну точку перед собой и, наконец, спросил:

— А ты уверен, что ее ко мне тянет по-настоящему? Может, всего-то обычный флирт...

— Я уже сказал тебе, в чем я уверен. И думаю, что если мы с тобой выйдем ее домой через неделю, то сразу она не уедет.

— Ну и прогнозы у тебя... Ей с работы звонят без конца — все телефоны оборвали. И сама говорит, что без нее там “ни бе, ни ме, ни кукареку”.

— Прокучкарекают. А она останется. Ненадолго, конечно.

— С какой стати? Куда она тут денется?

— А вот это уж мы посмотрим... — рассмеялся Отроченков.

— Да ну тебя, Фадейч! — махнул рукой Велешев. — Мефистофель какой-то. Лучше скажи, что ты о ней думаешь. А то все намеками да предсказаниями...

— Как будто сам не видишь. Необычная женщина — это же твои слова. Могу добавить, что мужа, похоже, нет.

— О муже ни разу не упоминала. И приезжает только сын.

— В разводе, скорее всего. Наверняка муж с ней не справился. Ну что тебе еще сказать? Обаятельна, интересна. Неплохо образована, судя по всему, несомненно, очень темпераментна. По-женски умна и хитра. Своевольна до крайности, любит деньги и развлечения. Очень опасна.

— В чем же, по-твоему, главная-то опасность? — криво усмехнулся Велешев.

— Да в этом она нам сама призналась в порыве искренности. Главная опасность в том, что живет безоглядно — с упрямой безоглядностью, осознанной. Вы с ней оба безоглядные. Только у тебя свой путь, а она идет своим. Ты в силах побороть свою безоглядность — душа просит именно этого. А ей вряд ли сумеет — силенок не хватит. На ее пути инерция сильнее. Вот в этом-то вся и опасность.

— Выходит, опять боишься?

— Опять, но уже по-иному. Я ведь понял, что тебе надо через это пройти.

Помолчали немного, и Отроченков поднялся из-за стола, осторожно отстранив Федора.

— А кота не ругай, — сказал он. — Мне кажется, что этот молчун признателен мне не только за кусок стерлядки, который ты ему дал, но и за мою вынужденную проповедь.

— Ладно, больше не буду его ругать.

Глава пятнадцатая

Больница со всеми своими постройками располагалась на высоком берегу реки, и перед ее окнами стояли вдоль берега старые березы. Велешеву казалось, что они живут здесь вечно.

Под ними, в нескольких шагах от берегового обрыва, стояла тесовая скамейка со спинкой, и Валерия Сергеевна с Анной Тимофеевной подолгу сидели здесь в свободное от процедур время. Велешеву нередко приходилось видеть из окна своего кабинета, как они, замороженные сверкающей гладью реки, потихоньку беседуют о чем-то, и от того, что эти две женщины так сдружились, у него в душе вспыхивало внезапным импульсом радостное чувство.

Вскоре Анна Тимофеевна выпросилась-таки на полное домашнее житье-бытье, и Валерия Сергеевна, проводив старушку до дома, узнав дорогу, стала навещать ее по вечерам. И Анна Тимофеевна не оставалась в долгу — навещалась к ней в больницу чаще всего к обеду. Приносила или горячих зеленых щей в стеклянной банке, укутанной шерстяным платком, или молодой картошки — тоже с пылу с жару, а вдобавок к ней огурчиков, помидоров с грядок, либо только что вынутых из гнезда яиц от своих кур.

Велешев слегка негодовал в душе на Отроченкова за его совет Валерии Сергеевне по поводу купания. У нее появился купальник, и конечно же упустить такую возможность было не в ее духе. Ходила она, пока еще слегка прихрамывая, но тем не менее купалась дважды за день — утром, до завтрака, и перед ужином. И, наверняка, не только окуналась с головой, но и

плавала, не стесняясь. Со шва у нее на бедре только-только сошла кровавая корочка, и Велешев опасался, как бы не прицепилась инфекция.

— Лучше бы вы повременили с купанием, Валерия Сергеевна, — сказал он. — С таким свежим швом все-таки нежелательно. И ребро вряд ли еще срослось как следует.

— Ну, Павел Андреевич... — состроила она по-детски капризную мину. — Ну я же купаюсь — и ничего. Аркадий Фадеевич разрешил ведь...

— Аркадия Фадеевича состояние вашего шва интересовало меньше всего. А я проморгал это разрешение.

— Не запрещайте, пожалуйста. Мне от купания лучше.

— Да вам и запретишь — вы не послушаетесь. Все равно втихаря будете ходить на реку, не подозревая, что я могу увидеть вас из своего кабинета. Ладно, купайтесь уж в открытую, но с двумя условиями. В воде находиться недолго, как вам и предписал Отроченков, а по выходе из воды сразу же смазывать шов зеленкой.

— Все будет исполнено в самом лучшем виде, — смотрела она на него с озорной усмешкой.

Она удивительно ладила и с больными, и со всем медицинским персоналом. Ей нравились все, особенно медсестра Саша. Валерия Сергеевна даже иногда приходила к ней на пост, усаживалась рядом, и разговоры на всевозможные женские темы они вели так, что можно было подумать, будто это очень хорошие давние подруги. Она со знанием дела советовала Саше, какая прическа ей лучше подойдет, какой косметикой пользоваться, чтобы эффективнее выглядеть. И с водителем Володей Валерия Сергеевна успевала побалагурить на ходу, с удовольствием слушала анекдоты, которыми он был напичкан под завязку, рассказывала ему свои, и оба хохотали от души. И вообще Велешев замечал, что с ее присутствием установилась в больнице какая-то несколько иная, словно бы слегка приподнятая атмосфера.

Пожалуй, одна только Саша, несмотря на все свои почти приятельские отношения с Валерией Сергеевной, становилась день ото дня все печальнее и от этого вроде бы даже еще красивей. Однажды, когда она зашла к Велешеву в кабинет по какому-то делу, он перехватил ее тоскливый взгляд, устремленный в окно, туда, где полоскались на ветру вислые ветви берез, и спросил:

— Что с тобой, Сашенька? Случилось что-нибудь?

— Случилось, Павел Андреевич, — не отрывая взгляда от окна, ответила она.

— В чем дело? Может, я сумею помочь?

— Нет, Павел Андреевич... — большие, чистые глаза ее заволокло слезой. — Вы-то как раз и не сумеете.

Саша слепо устремилась к двери и выбежала из кабинета.

Велешев поднялся из-за письменного стола, подошел к окну и, тяжело вздохнув, скрестив руки на груди, долго смотрел, как шальный летний ветер играет ветвями старых деревьев.

Сын Валерии Сергеевны привез-таки Велешеву коньяк — на сей раз Лёньке удалось вырваться с работы среди недели. Коньяк был французский, в коробке, и, наверное, очень дорогой.

— Лёня! — стараясь казаться строгим, хлопнул по столу ладонью Велешев. — Ты вносишь в мой больничный порядок элемент коррупции, а я этих элементов терпеть не могу.

— Правильно делаете, Павел Андреевич, — невозмутимо ответил тот. — Давно уж пора им головы пооткрутить — нашим паскудным коррупционерам. Твари корыстные. А я принес другой элемент, так что не путайте. Это из уважения к вам. Ну и... дань семейному упрямству.

— Вон оно что. Тогда оставайся — поедем вечером ко мне, распробуем этот элемент вместе. А утром рванешь обратно.

— Я бы рад, Павел Андреевич. Я... Мне нравится общаться с вами. Но через три часа надо быть на месте. Может, в другой раз как-нибудь...

— Хорошо, ловлю на слове. Оставлю коньяк для этого самого раза.

— Ладно, замetano. А мама-то, Павел Андреевич! Прямо не узнаю я ее. Не только полностью на ногах, но, по-моему, даже помолодела. Ей-Богу,

красиво смотрится. А главное — ни малейшего диктата. Во-от благодать-то... Чем вы ее таким хоть лечите-то? Говорит, что здесь ей лучше, чем в любом санатории.

— Ну, во-первых, — улыбнулся Велешев, — наверно, правильно кем-то сказано, что телесные боли очищают душевные, а во-вторых — мне как врачу, возглавляющему эту больницу, слышать такое конечно же очень приятно.

Велешеву тоже нравилось общаться с парнем. Встречались уже третий раз, и не возникло ни малейшего напряжения. К тому же в последнее время Велешев стал ощущать какую-то щемящую ущербность оттого, что у него нет детей. Когда-то ему пришлось немало повозиться со студентами, и он неплохо знал их устремления, привычки — то есть по большей части внешнюю оболочку поколения. А что там у каждого из них в душе, чем отличается их сокровенное от того сокровенного, которое было у него, Велешева, и его сверстников, — это оставалось за десятью замками, за семью печатями. Лёнька был намного моложе поколения студентов, с которыми занимался Велешев, а у этих молодых, по слухам, не удастся сорвать замки да отковырнуть печати даже их родителям. Такая откровенность от молодой поросли вызывала у Велешева нечто вроде ощущения сиротства — этакого едва заметного, глубинного. И любая возможность хоть как-то восполнить этот пробел приносила ему удовлетворение.

Подшло воскресенье, и, проснувшись, как всегда, рано, Велешев решил после завтрака размяться по-настоящему — пройтись до Овражной Заводи. До нее было километра три, и он любил это место, считал его одним из самых своих заветных. Душа там сразу же отрешалась от всего суетного, и такой настрой, как правило, сохранялся весь день. Пройти туда можно было низом села, вдоль реки, но он выбрал более долгий путь — вышел через село наверх, к лесу, и направился к Заводи знакомой с детства глухой тропой, петляющей среди старого сосняка. Здесь не встречалось никого, ощущался сосновый смоляной дух, и шагалось легко, радостно.

У Заводи в такой ранний час тоже не было никого. Лишь часов с десяти начнут съезжаться сюда отдыхающие — и приехавшие погостить в родной поселок из городов, и райцентровская разгульная братия с грохочущими в машинах магнитофонами. А сейчас тут стояла заповедная тишина, и теньканье синиц, посвист яблочков, голоса другой пернатой живности лишь выгодно подчеркивали ее. Местность здесь была словно бы вознесена высоко над рекой, и в эту возвышенность глубоко врезался со стороны реки огромный овраг с крутыми склонами, на которых, вцепившись намертво корнями в землю, стояли древние, наверно, более чем вековые, сосны. Стволы их были золотистого цвета, высоченные и ровные, как свечи, с кронами лишь на самом верху. Кроны деревьев, стоящих у самого дна оврага, приходились вровень с человеком, стоящим наверху. И таинственно поблескивала внизу зашедшая далеко в овраг и кажущаяся здесь очень темной речная вода.

Справа от овражной крутизны был обширный, пологий и ровный спуск к реке, одетый мелкой плотной травой. И на этом ярко-зеленом “ковре”, на верхней части его, стояли такие же могучие, но более приземистые, сосны, а ниже, радуя сердце пронзительной белизной стволов, сбегали почти к самой воде стройные березы.

Велешев уселся на высоте этого раздела, привалившись спиной к стволу древней сосны, — расположился так, чтобы слева было видно глубину оврага до самой воды, а справа оставалась в поле зрения площадка с березами. В глубине оврага поднимался от воды пар, царил утренний сонный полумрак, а поодаль зеленый “ковер” заливало ярким солнечным светом и река поблескивала золоченым серебром в прогалах между берез. Он глянул вверх — там, в ослепительной синеве неба, наслаждаясь свободой, медленными кругами плывал коршун.

Велешевское сердце то вбирало все это в себя, то растворялось во всем этом, а он никак не мог поверить, что ощущает подлинную земную радость, истинное счастье. “Настоящая минута есть маленькая вечность”, — вспомнились ему чьи-то слова. “Наверное, — подумал Велешев, — нет такого вре-

мени, которым человек может безопасно пренебречь. Потому что в любое время можно спастись и в любое время можно погибнуть. Вот эта моя маленькая вечность очень похожа на спасение от всего, что терзало душу в последние годы. Когда смотришь, как живут люди, то на ум приходят по большей части печальные истины. А высокие, светлые истины, скорее всего, открывались людям именно в такие вот минуты — когда они смотрели на небо, на красоту земли и воды. Похоже, только это и способно по-настоящему помочь человеку отыскать и спасти в своей душе то, что погибает. Но спасение не придет к тебе сразу, по первому зову — для того чтобы наступила такая минута, нужен долгий и очень нелегкий труд души...”

Шумел в хвое, наверху, легкий утренний ветерок, отрешенно стучал дятел на соседней сучомаковой сосне, и, убаюканный этими звуками вечности, Велешев незаметно для себя заснул. И ничто не снилось ему. Разум и сердце словно бы растворились, исчезли в глубоком покое.

Разбудил Велешева звук автомобильного двигателя. Он открыл глаза — перед ним, в двух шагах, стоял здоровенный молодой мужик и прицельно таранил на него.

— Тэк, — сказал мужик. — Живой и, кажись, очнулся. С вечера, что ли, здесь? Ну, видать, здорово принял вчера на грудь... Ох, блин! — он раскинул руки в стороны, и майка чуть не лопнула на его широченной груди. — Благодать-то какущая! И добрый-то я нынче какой! Вставай — оживлю. Есть хор-рошая водочка.

— Не требуется, брат, — рассмеялся Велешев. — С утра я тут, а не с вечера. Смотрел, смотрел на эту благодать, слушал, слушал — да и уснул, не заметил как.

— Ух, братан, красотища! — истово подтвердил тот. — Ты только глянь, сколько нам всего от Бога дано! А мы, паразиты, что делаем? Я вот недавно такое дельце провернул... Такое занозистое дельце... Удалось паразиту, ох, как удалось!.. — и он вдруг сплясал, несмотря на свой огромный вес, почти в присядку. — Биттэ, дриттэ, гоп-ца-ца!

В машине сидела женщина с усталым, отрешенным лицом, весьма милостивым.

— Вылезай, кукушечка! — скомандовал ей здоровяк. — Сейчас мы с тобой как булькнемся — куда только брызги полетят!

— Не хочу я булькаться, — ответила она. — Вода — бр-р... Иди сам булькайся, а я посилю хоть немножко.

— Пойдем купаться, мужик, — предложил тот Велешеву. — Пойдем, раздвинем реку, а то одному скучно.

— Пошли, — согласился Велешев. Плавки и полотенце были у него с собой в полиэтиленовой сумке. — Вас хоть как зовут-то?

— “Вас”? Да Витька я.

— Ну а я тогда Пашка.

Купался новоявленный велешевский приятель так, что реке, наверное, и в самом деле стало тесно в берегах. Он плавал, поднимая тучу брызг, нырял, посылая вокруг себя волны, и выныривал с радостным ревом. Да еще и успевал спрашивать Велешева:

— Ну, ты там как?

— Полный порядок, Витя, — отвечал тот, плавая на безопасном от него расстоянии.

— Пашуня, а ты кто?

— Да врач я.

— У-у, жалко, что у меня ничего не болит, а то бы я к тебе обратился.

Когда вылезли из воды, Витя стал одеваться, оглядывая все вокруг, успел уже вдеть ногу в штанину и вдруг сел, вздохнул:

— В самом деле ведь, Пашуня... благодать-то какая. Чего это я тут разорался-то?

— Если приглядеться как следует и прислушаться, — ответил Велешев, — то многое она может в человеке вылечить. Меня — так вот даже усыпила.

— Мне бы дурь свою вылечить. Не-ет, надо приглядываться, а то бессознательный я какой-то — утюжу жизнь наподобие танка.

Когда вернулись к машине, женщина, услышав их голоса, очнулась, глянула таким унылым взглядом, что Велешеву стало жалко ее.

— Вы все-таки соберитесь с силами, — сказал он ей ласково, — испупайтесь. Поверьте — вам будет намного легче.

— Вы так считаете? — удивленно распахнула она глаза.

— Да он же врач! — прогудел Витя. — Послушайся умного человека — окуньись хоть маленько, кукушечка.

— У меня даже и купальника-то с собой нет...

— Зачем вам купальник, — сказал Велешев. — Вокруг никого.

И женщина решила, стала выбираться из машины. Витя сгреб ее в охапку и потащил к реке. Она не сопротивлялась — видно, была привычна к такому обращению.

— Потом полотенцем ее разотри! — крикнул вслед Велешев. — Чтоб до горяча, до красна — от головы до пяток.

Остановившись, тот обернулся со своей ношей:

— Спасибо, Паша. Вот я какой — даже “спасибо” забыл тебе сказать.

— Да за что?

— Сразу сообразить не могу, — Витя поставил женщину, — но, точно, есть за что.

— Тебе тоже спасибо за компанию.

Ни малейшего раздражения не испытал Велешев от такого общения, наоборот, — какое-то теплое, щемящее чувство осталось в душе — жалость, скорее всего.

И ему вдруг очень захотелось увидеть Валерию Сергеевну — подумалось, что ей там, в больнице, наверное, сейчас одиноко и скучно. После невольного странного сна под могучей сосной над Заводью он ощущал в себе нечто новое, совершенно необычное, и все силится понять, что же это такое. Никаких дел на работе у него на сегодня не было, на вызовах дежурила педиатр Вера Гавриловна — человек и врач сверхнадежный, и получалось, что его впервые тянет в больницу по причине, которая со службой уж никак не связана. И он вдруг рассмеялся, сказал самому себе вслух:

— Ну, вот это — оно самое и есть.

И шел обратно кратчайшим путем — тем самым, от которого отказался, собираясь в свой поход. Шагал теперь уже не спеша, приглядываясь ко всему теплым душевным зрением. Дорога петляла вдоль реки, и стрекотали в траве на разные голоса кузнечики, порхали бабочки, разыскивая цветущие растения, которых к концу лета становилось все меньше. Вынырнув откуда-то, опускались на дорогу изящные трясогузки, ходили по песку, смешно подрагивая длинными хвостиками, перелетали с места на место, ловя на лету мух. И слепило глаза отраженное рекой, разбитое рябью на множество ярких огоньков солнце.

Близ села, на луговом взгорье, паслись корова с теленком одинаковой расцветки. Белые с черным. Они щипали траву, захватывая её своими мягкими губами, и теленок держался рядом с матерью, вровень. Чувствовалось, что ему хорошо от этого. Наверное, и ей было хорошо — возможно, она испытывала сейчас свое самое высшее счастье. Корова вдруг подняла голову и посмотрела на него.

— Здравствуй, — неожиданно для самого себя сказал Велешев. — Я так, я ничего...

Она опять начала щипать траву, а он пошел дальше.

Скамейка под березами возле больницы была пуста, и Велешев решил сначала для порядка справиться у Веры Гавриловны, как дела. Она сидела на сестринском посту, а рядом стоял ее муж Николай и, кромсая ладонью воздух, что-то горячо ей доказывал. “Ну, сейчас начнется...” — с какой-то бесшабашной веселостью подумал Велешев. Николай, неплохой в общем-то мужик, временами крепко “закладывал за воротник” и в такие периоды жутко ревновал свою Веру Гавриловну. Причем именно к Велешеву, и больше ни к кому. В подтиши Николай мог и жене, и главврачу наговорить совершенно диких гадостей, но на следующее же утро, “отбрить” женой по высшему разряду, приходил к Велешеву с повинной головой. “Прости уж, Хри-

ста ради, Андреич, — просил он. — Намолол я тебе вчера... “ — “Наверно, хватит молотье-то, Коля, — отвечал Велешев. — Жену и самого себя позоришь. Откуда только в голову-то тебе влезает такая чушь?” — “Куда ж денешься — гиперболический загиб. — Николай любил такие выражения. — А сейчас вот стою — и сам знаешь, как я тебя уважаю”. — “Да уж разогнул бы ты эту свою гиперболу раз и навсегда”. — “Как ее разогнешь-то? Она же внезапная — не ухватишь. Сейчас-то вот нету ее”. — “Тогда бросай пить”. “Придется...”, — тяжело вздыхал Николай. “Ладно, иди, не мешай — и без тебя забот хватает”. — “Андреич! — складывал тот на груди ладони. — Ты золотой мужик!” А потом все повторялось.

— А-а... — увидев главврача, раскинул руки Николай. — Вот он собственной персоной — явился — не запылится. В выходной день — и без всякого стеснения...

— Я-то явился к себе на работу, — сказал Велешев. — А вот интересно, что ты тут делаешь?

— Да заинтересовался послушать, какие у вас тут бывают разговоры, какие вершатся дела. Ну, давайте, давайте — мы и посмотрим, и послушаем...

— Уймись, Коля, — без всякой надежды попросил Велешев. — Ради Бога уймись.

— Ага, вам, голубкам надо, чтоб я унялся. Нет, я сейчас вас по одному унимать начну!

Видимо, услышав эти громогласные заявления, вышла из своей палаты Валерия Сергеевна и, сразу же оценив обстановку, поняв, что ее присутствие тут неуместно, направилась по коридору к выходу.

— Валерия Сергеевна! — сообразил вдруг Велешев. — Ради всего святого — возьмите меня с собой!

Она обернулась, удивленно вскинув брови, и ответила:

— С удовольствием, Павел Андреевич.

И, едва сдерживая смех, он устремился к ней.

— Стой! Куда?! — рявкнул за его спиной Николай. — Из-под земли достану!

— Спасайте, Валерия Сергеевна, — подхватил ее под руку Велешев. — Скорее за угол, и — на скамейку! Я вам потом всё объясню.

— Только не так быстро, доктор, — проникаясь его весельем, засияла она глазами. — Я ведь бегать-то еще не так горазда, как вы.

Они обогнули больницу и ринулись к скамейке.

— Ффу-х... — плюхнулся на сиденье Велешев. — Отдышаться хоть.

— Ну, рассказывайте, — попросила она, неторопливо усаживаясь рядом. — Что это еще за покушение на вас такое?

— Понимаете...

Велешев обернулся и увидел, что Николай быстрыми зигзагами движется к ним, а следом, пытаясь поймать его, семенит Вера Гавриловна. Ревнивец, удачно обогнув скамейку, установил себя перед сидящими, и для прочности скрестив руки на груди, прохрипел:

— Ну, господин ученый доктор. Хотя вы и удалились от меня параболически...

— По-моему, Коля, — сказал Велешев, — совсем наоборот — параболически ты ко мне приближался.

Вера Гавриловна, пунцовая от смущения, толчком плеча отторгла мужа в сторону и, пытаясь отдышаться, развела руками:

— Извините уж, пожалуйста... Стыд и срам... Отелло Пореченского уезда.

— Отелло был негр, — отстраняя в свою очередь ее, заявил Николай. — Неграм запудрить мозги — раз плюнуть! А вот мне... Учти, не удастся, Велешев. И морду я тебе обязательно начищу.

— За что? С какой стати, Коля?

— От изжоги и для счета.

— Помнится, — сказал Велешев, — по молодости я тебе крепко возле клуба накостылял. Может, этот счет хочешь продолжить?

— Я открою свой собственный счет.
— Да прекрати. Сам же говорил — гиперболический загиб.
— Разгибать не собираюсь. Я тебя разукрашу под доктора Айболита.
— Ладно, — согласился Велешев, — начинай.
— Нет, это ты начинай.
— С какой радости? У меня к тебе никаких счетов нет.
— А к тебе претензии есть. Ты отнял у моей жены должность, а у меня хочешь отнять жену.

— У меня отняли должность?! — всплеснув руками, возопила Вера Гавриловна. — Да я от этой должности чуть не повесилась! И сам же ведь долдонил каждый день: уходи, плынь! Направляйся к дому, сочинитель хренов! Там, небось, кролики не кормлены!..

И она толкнула мужа так, что тот отлетел далеко в сторону. Но на ногах-таки удержался каким-то чудом.

— У меня отняли должность... — обессиленно повернулась она к Велешеву и Валерии Сергеевне. — Павел Андреевич, у него, оказывается, вон что еще закрутилось в черепушке. Хотя... ему даже если манна небесная упадет, он будет орать: кто сбросил, зачем и с какой такой стати?

Николай тем временем, хоть и медленно, однако все же опять продвигался к скамейке.

Валерия Сергеевна сначала наблюдала за всем происходящим недоуменно, едва ль не с испугом, но постепенно, кажется, вникла в суть дела.

— Николай, — сказала она, — насколько я понимаю, вы ревнуете свою жену к доктору Велешеву?

— Исключительно и бесповоротно, — подтвердил тот, укрепляясь перед ней.

— Но ведь доктор Велешев сидит рядом со мной, а не с вашей женой.

— Он может сидеть хоть на суку вот этой березы, но... проблемы это не искореняет.

— Да как же не искореняет, — уверенно вошла в роль Валерия Сергеевна, — если мне очень нравится доктор Велешев, а я, разумеется, нравлюсь ему.

— Давно? — Николай вроде бы даже начал трезветь.

— Давным-давно. Мы только долго не виделись. И я никогда не пове-рю, что Павел Андреевич мог мне с кем-нибудь изменить. Он не такой. И вы... — она настолько вошла в раж, что даже повысила голос, — слышите?! — вы не имеете ни малейшего права пачкать его такими подозрениями.

— Конечно, — обняв ее, подтвердил Велешев. — Мне, Коля, нравится только эта женщина, и никакая другая. И брось ты, в самом деле, пачкать свою верную и добрую жену, брось пачкать меня...

— Да и меня тоже! — ветрепенулась Валерия Сергеевна. — Неужели мне не обидно слышать такие слова о человеке, который...

— Та-ак... — Николай, закрыв ладонью один глаз, смотрел то на нее, то на Велешеву. — Кажись, я влип...

— Конечно, влипли, — подтвердила она. — И уже надоело ждать, когда отлипнете!

— Веруна, — повернулся тот к жене, — кажись... давай отлеплай меня.

— Иди домой! — толчком указала ему направление Вера Гавриловна. — Хватит людям головы морочить, Отелло чертов!

И Николай, следуя указанному направлению, пошел в сторону от больницы.

— Павел Андреевич! Валерия Сергеевна! — сложила под горлом ладони Вера Гавриловна. — Ради всего святого...

— Да брось ты, Вера, — перебил ее Велешев. — Иди успокойся, посмейся. Нам с тобой привыкать, что ли?

Она ушла, и Валерия Сергеевна, слегка скосив на Велешеву глаза, спросила с лукавой улыбкой:

— А почему руку-то не убираете, Павел Андреевич? Что называется, отсиделись за моей спиной, гроза миновала — теперь-то уж, наверно, можно и не обнимать.

— Да что-то не хочется мне убирать руку, Валерия Сергеевна.
 — Так я вам в самом деле, что ли, нравлюсь?
 — Ну вы же слышали.
 — Может, просто подыграть мне решили.
 — А вы просто играли — и всё?
 — Нет, Павел Андреевич... — она положила руку на его ладонь, которая покоилась у нее на плече, и слегка сжала ее, — не всё.
 — Я вообще-то затем сюда и шел, чтобы увидеть вас. Подумалось: скучно ей сейчас там, одиноко...
 — Мне не скучно, потому что я здесь. А вот одиноко — это точно. Так что спасибо вам — сумели почувствовать.
 — А знаете что? — Велешев убрал руку с плеча Валерии Сергеевны и взял ее ладонь, спрятал в обеих руках. — Пойдемте ко мне в гости. Сегодня же воскресенье... Стоп. А чем я вас буду угощать? Чем, чем, чем... — И он вдруг вспомнил, что дома, в холодильнике, лежит стерлядь — половина, оставленная Фадеичем. — Я вас угощу стерляжьей ухой — вот чем. Помидоры есть, огурцы — отличный будет обед! Ну? Согласны?
 — Стерляжья уха... — смотрела она на него сияющими глазами. — Это же невероятно вкусно. Боже мой, так неожиданно...
 — Ну что — вперед?
 — Хочу стерляжьей ухи.
 — Заметано, как говорит один мой знакомый.
 — Мой Лёнька так говорит. Я знаю, что вы с ним общались. Надо же — успели запомнить его привычку... Мне только одеться надо как-нибудь поприличней.
 — Хорошо, я тут подожду. А вы там заодно Веру хотя бы чуток облакайте. По-женски как-нибудь успокойте ее. Представляете, каково ей сейчас...
 — Представляю. Заметано.

Глава шестнадцатая

Из больницы Валерия Сергеевна вышла в голубой блузке и светлых брюках, плотно облегающих ее полные, крутые бедра. Велешев от удивления покачал головой — одежда была точно такая же, как и та, лоскуты которой ему пришлось снимать с Валерии Сергеевны тогда, под березой.

— У вас что же это, — сдерживая улыбку, спросил он, — или униформа своего рода? Все, как в тот злополучный день. Не бойтесь в таком одеянии угодить в новую аварийную ситуацию?

— Я не считаю тот день столь уж злополучным. Это — во-первых. А во-вторых — такое сочетание одежды мне идет, и назло нечистой силе я попросила Лёньку, чтоб купил он то же самое. Вам бы на комплимент разориться хоть малость, а вы расцениваете мой внешний вид с каких-то чисто мистических позиций.

— Вообще-то раздача комплиментов не мое хобби, но... прямо сказать, выглядите вы весьма соблазнительно.

— Так это же, наверное, вполне соответствует моменту, — в ее темных глазах запрыгали веселые искорки. — Или вы так не думаете?

— Я, Валерия Сергеевна, думаю именно так.

— А как мы пойдем? Могу я вас взять под руку? Или есть вероятность, что некая здешняя дама закатит мне сцену, подобную той, которую вам только что устроил муж Веры Гавриловны?

— Берите меня под руку, — сказал Велешев. — Мне этого очень хочется. И люди будут нас встречать только приветливыми улыбками.

— Это ваша уверенность мне нравится.

И в самом деле — когда они шли к велешевскому дому, у всех встречаемых просветлялись лица, и люди, которые обычно здоровались с ним, называя его по имени-отчеству, на этот раз говорили просто “здравствуйте” — то есть приветствовали их обоих.

Дома Велешев сказал ей:

— Вы пока послушайтесь тут у меня везде — посмотрите, как живу, освойтесь как следует. А я достану рыбу — в холодной воде она быстренько разморозится. И уху приготовлю сам — ради Бога не мешайте.

— Обязательно послушаюсь, — ответила Валерия Сергеевна — мне интересно знать, как вы живете. И уху готовить не стану мешать — по этой части я, прямо сказать, не специалист. Но какую-то лепту в обед должна же я внести. Захватила вот с собой кое-что, — тряхнула она полиэтиленовой сумкой, — и салат беру на полную свою ответственность. Думаю, что у нас будет два салата.

— Благодарю. А по салатной части я абсолютно никудышный. Швыряю в рот все компоненты по отдельности, причем целиком.

— Вот и поправим это дело.

Валерия Сергеевна прошла в основную часть дома и, судя по всему, обследовала ее весьма обстоятельно. Она разговаривала с Велешевым оттуда.

— Какая великолепная у вас библиотека! Кроме медицинской литературы еще и вся русская классика. Когда же вы успеваете читать?

— Обычно полтора-два часа перед сном. Зимой много читаю — времени больше.

— После чтения таких книг — по себе знаю — столько всего возникает в душе... Вы давно живете один?

— Пятый год пошел.

— Знаете, Павел Андреевич... Я тут представила себе... Ой, нет. Боюсь говорить.

— Да говорите, не стесняйтесь.

— Представила себе, как вы один ложитесь спать.

— И что же?

— Да горло сжало.

— Спасибо.

— Не смейтесь. В самом деле — наверное, ведь очень муторно одному в ночи. Наверняка боль на душе... Если бы хоть неделю так, месяц... А каждый день из месяца в месяц, из года в год — это... вы, видно, очень сильный человек.

— Я против этой муторности стихи сочинил.

— Вы пишете стихи?!

— Да вот сочинил одно: “Коль впереди глухая ночь — гони дурные мысли прочь”. Раза три повторю вслух — и помогает, знаете ли.

— Хм, надо взять на вооружение. А жена ваша очень симпатичная женщина... — Валерия Сергеевна разглядывала портрет Людмилы, который висел на стене в зале. — Доброта чувствуется, и в то же время вроде бы что-то академическое...

— Наверно, профессия наложила отпечаток, — отвечал с кухни Велешев. — Она почти всю жизнь работала в школе, причем директором была много лет. И ученики, и учителя очень уважали ее.

Потом она готовила салат, а Велешев, не отходя от плиты, следил за ухой — то снимал пену, то резал что-то быстро и подсыпал в кастрюлю.

— Для доктора наук, — покачала головой Валерия Сергеевна, — вы с завидной легкостью управляетесь с такими делами. Более того — чувствуете мастерство.

— Я теперь не доктор наук, а хозяйственный доктор. Это во-первых. А во-вторых, — четыре с лишним года холостяцкой жизни чему-то да научат любого. К тому же варю не что-нибудь, а уху. Ее у нас всегда варят мужики — женщинам такое дело не доверяют. А у вас тоже, смотрю, очень ловко все получается — словно играючи. Судя по всему, неплохая хозяйка.

— Да вы же почти стоите ко мне спиной — когда успели увидеть-то?

— Спиной и вижу — научился у Фадеича. Он видел спиной, каким взглядом я смотрел на вас.

— Надо же... — рассмеялась она. — Милейший и удивительнейший Аркадий Фадеевич...

Кроме всего того, что требовалось для салата, Валерия Сергеевна принесла с собой бутылку хорошего вина, и когда выставила ее на стол, Велешев глянул искоса и сказал:

— Вы там, у себя в палате, винный погребок, что ли, соорудили?

— Да Лёнька привез на всякий случай, — оправдывалась она едва ль не на полном серьезе. — Дескать, может, кому-нибудь подарок сделаешь при выписке...

— Ладно, попробуем. Вернее, попробую я, а вам нельзя.

— Даже ради такого случая не разрешите?

— Даже так.

— Какой же вы...

— Ладно, несколько капель.

— А мне больше и не надо.

Велешеву невыразимо хорошо было от того, что она рядом, что он varit уху, а Валерия Сергеевна готовит салат. Он никогда не жалел для людей душевного тепла, но где-то в глубине его существа в замкнутом, сжатом состоянии хранилось еще и другое тепло — словно про запас, для особого случая. И вот теперь он чувствовал, как это особое тепло переполняет его, и сердце радуется новой, неведомой прежде радостью.

— Я, может быть, покажусь бестактной, — сказала Валерия Сергеевна, — но уж очень хочется узнать: как же все-таки занесло-то вас сюда? Когда до меня дошло, что это вы, то я, признаться, испытала нечто вроде шока. Человек с именем, фигура такого масштаба — и вдруг... Конечно, это весьма оригинально, однако все-таки...

— А чем здесь так уж плохо? — пожал плечами Велешев. — Это ведь моя родина.

— Здесь прекрасно, для меня тут все словно райское, но я хотела бы знать...

— Понятно. Вас интересует причина, по которой я сменил свое престижное бытие на службу простым врачом-хозяйственником у себя на родине. Почему-то это у многих не укладывается в голове. Но если правильно понять, то дело весьма простое. Я оказался плохим сыном, и мне повезло сделать вывод, что и человек-то я, значит, никудышний, несмотря на все свои достижения и регалии. И захотелось стать лучше. Вот и вся причина.

— Такое впечатление — извините уж, пожалуйста, Павел Андреевич, — что вы сочли себя великим грешником и теперь стремитесь в праведники.

— Ни то, ни другое, Валерия Сергеевна. Хотя, конечно, отнюдь не маленький грех — выполнять сотню за сотней операций на человеческих сердцах и проморгать болезнь сердца у собственной матери. Но не в величине греха дело. Теперь, когда с той поры прошли годы, я думаю, что не столь страшен сам грех, сколько бесстыдство после него, молчание совести. Свалил все на судьбу да и попер себе дальше...

— И все-таки мне удивительно. Чтобы поступить так, как вы поступили, нужно немало мужество.

— Не знаю. Я об этом даже как-то и не думал. Если ты в ладу со своим сердцем, веришь ему, то не требуется никакого особого мужества. Просто делаешь, как оно велит — и всё. И от этого радость, которой окупаются любые трудности.

— А сейчас вы в ладу со своим сердцем? Что оно вам подсказывает?

— Оно радуется, что я ему поверил.

— Так вы, значит, не всегда ему верите?

— В этот раз никак не мог сразу поверить. И чувствую вину перед ним.

Стоя у плиты спиной к Валерии Сергеевне, Велешев слышал, как она поднялась из-за стола, и через мгновение ощутил на своих плечах ее руки. Он повернулся к ней, несколько побледневший, и сказал хриплым голосом:

— Уха готова, Валерия Сергеевна.

— Мы ее обязательно съедим. А сейчас обнимите меня. Если бы вы только знали, как мне этого хочется.

Он обнял ее, и она впиалась в него всем телом, глаза их сблизились. Велешева пронизало с головы до ног счастливым током, и он чувствовал — таким же током пронизывает и ее. Глаза Валерии Сергеевны приобрели вишневый оттенок, и в глубине их горели искры. Потом встретились их губы, и связавший обоих ток усилился до предела — Велешеву показалось, будто он

тонет в ней, а она — в нем... И вдруг Валерия Сергеевна вырвалась, схватила его за руку:

— Пошли. Пойдем скорей.

— Но... тебе же будет больно. Ребра...

— Господи, да какая сейчас может быть боль...

В спальне, когда они судорожно раздевались, Велешев замер вдруг и прерывисто вздохнул:

— Знаешь... Я боюсь.

— Чего ты боишься?

— У меня давно этого не было. Очень давно.

— Тем лучше. И не бойся — все будет отлично.

И все было слишком хорошо. Она умела напитать наслаждением, умела и сама им напитаться. В наивысший момент у нее вырвался протяжный, словно бы торжествующий, крик, и она не пыталась сдержать или приглушить его.

Потом, положив голову ему на плечо и обняв его, она лежала с закрытыми глазами, дышала глубоко и ровно. Пухлые губы ее были слегка приоткрыты, как у ребенка, на лице застыло выражение полнейшего покоя, и оно было красиво какой-то первозданной девичьей красотой. Велешев боялся пошевелиться, но она сказала, не открывая глаз:

— Я не сплю. И чувствую твой взгляд. Ты молодец, доктор.

— Если так, — легонько, едва касаясь пальцами, погладил он ее по щеке, — то лишь благодаря тебе, Валера.

Она открыла глаза:

— Вообще-то меня Лерой в обиходе зовут.

— Звучит холодно.

— Ну хорошо, зови, как назвал. Пожалуй, так и вправду теплее.

— А ты меня и дальше будешь звать доктором?

— Но ты ведь пока мой доктор.

— Хорош доктор... — усмехнулся он. — Доламывает пациентке ребра.

— Считаю, что я приняла обезболивающее.

— А в самом деле — как они у тебя?

— Да лучше некуда, — повернувшись на спину, она выставила колено, водрузила на него другую ногу и, покачивая ею, заложив руки за голову, запела: “Ля-ля, ля-ля! Ля-ля, ля-ля!..”

И, глянув на него с каким-то невыразимым лукавством, рассмеялась переливчатым заразительным смехом. Велешев, сраженный этим неожиданным концертом, тоже расхохотался, и они долго смеялись, не в силах остановиться.

Уха, ожидаячи их, совсем почти остыла, и Велешеву пришлось подогреть ее.

— Ну, что ж, Валера... — усевшись, наконец, поднял он бокал. — Наверное, надо выпить за нас.

— Непременно, доктор, — засветились в ее глазах озорные огоньки. — Как говорится, с почином.

Она опять залилась своим заразительным смехом, и Велешев прыснул, едва не расплескав вино.

— Какая же ты все-таки озорная, — покачал он головой.

— Прости ради Бога, — постаралась вернуть она лицу серьезное выражение. — Вечно меня подмывает нести какую-нибудь чушь в самый торжественный момент. Конечно, давай за нас. Я рада, что мы вместе.

Потом, не скрывая аппетита, они стремительно уничтожали салаты, а когда дошло дело до ухи, Велешев сказал:

— Вино, конечно, хорошее, но под уху надо бы чего-нибудь... Не возражаешь, если я хлопну водочки? Мы, хирургическая братия, все-таки больше ориентированы на крепкое.

— Он еще спрашивает. Обязательно хлопни, и не единожды. А мне нальешь еще немного вина?

— Валера, тебе же вводят лекарства. Может быть нехорошая реакция.

— Ничего мне не будет — я знаю.

- Меня Фадеич убьет.
- А ты ему не говори.
- Делаешь из врача преступника.
- Наливай, преступничек ты мой.

Он сокрушенно покачал головой и плеснул в ее бокал чуть-чуть. А себе, достав из холодильника бутылку, налил водки.

- Ну, искусительница, за что же пьем на сей раз?
- За то, чтобы всегда.
- Хм... Тост многозначительный. Ладно, поехали.
- Помчались, доктор.

Уху Валерия не только одобрила, но и пришла от нее в полнейшее восхищение. Спешно отправляя в рот это велешевское творение ложку за ложкой, она приговаривала:

— Ух, здорово! Как же великолепно — я никогда не ела такой ухи. Доктор Велешев, Павел Андреевич, я боготворю вас. Ах, какая прелесть!

— Спасибо за такое почитание. Но ведь мы вроде бы перешли на “ты”.

— Не-ет, за эту уху я могу называть вас только на “вы”.

И глаза ее сияли самым настоящим восторгом.

Не меньший восторг вызвала у нее и сама стерлядь. Пробуя первый кусок, Валерия устремила отрешенный взгляд вверх, словно прислушиваясь к себе, и через мгновение сделала заключение:

— Здорово. Невыносимо вкусно. Такой рыбы я могу съесть очень много, но боюсь, что вам ничего не достанется.

— Да ешь сколько угодно. Я и в уме не вел, что сумею так угодить.

— Вы гений, Павел Андреевич. Вы мне не только угодили — вы меня очастливили.

И опять ела с сияющими глазами, с возгласами восхищения. Разделавшись с тремя стерлядками, Валерия обессиленно отвалилась на спинку дивана:

— У-фф... Нет, больше мне не съесть. А надо бы.

И Велешев понял, что все это у нее абсолютно искреннее, ничуть не поддельное, что она обладает редчайшей способностью — несмотря на весьма уже зрелый возраст, умеет радоваться любому, даже самому малейшему удовольствию всей полнотой души. Словно какой-то частью себя она задержалась в детстве и продолжает открывать все в жизни заново, с удивлением и восхищением, доходящим до самозабвения. И он чувствовал, как эта наивная, искренняя радость передается ему, как она, будто ласкающим теплым ветерком, сметает с души все тягостное.

Потом они пили кофе.

— Ты обо мне знаешь практически все, — сказал Велешев, — а я о тебе почти ничего. Повела бы о себе.

— Ох... Всегда мне лень о себе рассказывать. Может, не надо? Постепенно узнаешь все сам.

— Ну ты уж хотя бы вводную часть.

— Вводную... Возглавляю рекламное агентство. А раньше работала в комсомоле, в газете, на радио. Теперешняя работа нравится. Мы делаем самую разную рекламу, проводим пиар-кампании. Мне нужно, чтобы вокруг постоянно все кипело, всплескивало. Мне обязательно надо изобретать какие-нибудь новые проекты, все заезженное нагоняет на меня тоску. Люблю всевозможные празднества, торжества, банкеты, застолья. Обожаю красивые вещи, золотые и всякие прочие украшения. Стараюсь быть обеспеченной и ни от кого не зависеть.

— Задача не из легких.

— Да, в моем положении это самая трудная задача. Так, что еще... Живу без мужа, разошлись пять лет назад. Причина самая банальная — даже и не стоит того, чтобы о ней упоминать. Лёнька развод одобряет. Как ты, наверно, успел заметить, люблю все вкусное. Люблю все красивое в жизни.

— А литературу любишь?

— Очень. У меня, конечно, не такая, как у тебя, но тоже неплохая библиотека. И я тоже что-либо читаю перед сном. И живопись люблю. Хорошая живопись волнует меня до спазма в горле.

- Прости, что отваживаюсь на такой вопрос — сколько тебе лет?
- Я на девять лет моложе тебя.
- А откуда ты знаешь, сколько мне?
- Тебе скоро пятьдесят. Узнать это было нетрудно.
- Ты выглядишь гораздо моложе своих лет.
- Ну вот. А говорил, что не горазд на комплименты.
- Это не комплимент, а так оно и есть.
- Возможно. Это от характера.
- Ну а все рассказанное тобой позволяет сделать вывод, что ты вполне благополучная дама, живущая под девизом “Красиво жить не запретишь”, и дела у тебя идут как по маслу.
- Как по маслу?! Да ты бы знал, сколько зависти, подлости и откровенной злобы вокруг! Без конца приходится с этим сталкиваться. Иногда уже просто сил нет. Зло, зло и зло. И больше всего поражает то, что люди успели привыкнуть ко злу, смотрят на него, как на неизбежное и даже необходимое — практически без всякого отвращения.
- Да, оно прививается намного быстрее, чем добро. Кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием. Но мне кажется, что бояться надо не столько злых людей, сколько собственной злой воли.
- Какой злой воли? Нет у меня никакой злой воли. Нет у меня ее, а мне пакостят и пакостят, гадят и гадят.
- Она у всех нас есть, но чаще всего мы ее не замечаем. А стоит заметить и начать подавлять ее, и жить становится намного легче.
- Да что мне подавлять, если я не хочу ни на кого злиться? Себя я, что ли, не знаю?
- Из того, что есть на белом свете, меньше всего мы знаем самих себя.
- Что ты хочешь доказать? Я не понимаю тебя.
- За свою жизнь я слышал эту фразу много раз.
- Ты знаешь, почему я не могу назвать тебя просто по имени? — лицо ее порозовело, глаза приобрели вишневый оттенок, и в них засверкали острые огоньки. — Ты добрый, ты вроде бы и простой, но иногда мне кажется, будто за этой добротой и простотой стоит невидимая стена, за которой кроется нечто слишком сложное для меня, слишком не мое. Оно вызывает интерес, оно привлекает, но в то же время... Да прямо скажу: я боюсь, что оно будет довлеть надо мной. И даже стесняюсь называть тебя по имени — понимаешь?
- Понимаю. Это оттого, что у нас с тобой разные взгляды и на жизнь души, и на жизнь вообще. Пожалуй, они даже прямо противоположные.
- Да, я чувствую, что мы слишком разные. У нас все разное, и многое не стыкуется.
- Но ведь нас тянет друг к другу. Меня очень тянет к тебе.
- И меня к тебе тоже.
- Это сердечная тяга. Ей надо верить, на ней надо и основываться. И нам же ведь хорошо вместе.
- В данный момент не очень.
- Такого надо избегать.
- Она сидела напротив, и он поднялся из-за стола, сел рядом, обнял ее, погладил по волосам.
- Как хорошо Фадееч тебя называет — голубушка.
- Валерия, закрыв глаза, вжалась щекой в его щеку и прошептала:
- А я ведь почти разозлилась на тебя.
- Но ты же сказала, — рассмеялся Велешев, — что у тебя нет злой воли.
- Ну вот, опять ты за свое. Да просто всплыла малость — и все. С тобой разве не бывает такого? Как у самого-то насчет злой воли?
- Я уже говорил — она есть у каждого. Иной раз тоже — вспыхнет, как молния, и не успеваешь перехватить, задержать. А потом больно. Понимаешь, что ударил по себе. Но иногда все же удается придавить ее. И от этого хорошо. Главное — знать, что она в тебе есть и быть настороже по

отношению к ней. А иначе сколько ни считай себя добрым, все равно это не так. Чтобы стать по-настоящему добрым, сначала надо как следует убедить-ся в том, что ты зол.

— Вот оно — то, о чем я тебе толковала. Выглядывает из-за твоей стены. Странный ты все-таки. Копаешься в самом себе и как будто самого себя пытаешься схватить за горло. Зачем? Надо жить.

— Жить хочется не абы как. Но это вряд ли получится, если не следить за порядком в душе.

— Я боюсь, что ты и в моей душе начнешь устанавливать свои порядки.

— Не бойся. Тот порядок, о котором я говорю, человек может устанавливать в себе только сам — никто за него этого не сделает.

— Я хочу, чтобы ты принимал меня такой, какая я есть.

— Да уже принял. Потому мы и вместе.

— Но ты же меня совсем не знаешь.

— А мне кажется, что знаю тебя давно. По-моему, дело за тобой. Стена, которую ты во мне видишь, — это твое сооружение. И давай-ка уничтожай ее скорей. Постарайся понять, что я открыт для тебя весь.

— Я постараюсь, Паша.

И оттого, что она назвала его по имени, в груди у Велешева поднялась теплая волна. Он порывисто привлек Валерию к себе, уткнулся лицом в ее волосы. Запах ее волос, ее кожи волновал его, казался родным, и подумалось вдруг, что хотя и не отдавал себе в этом отчета, но давно уже хотелось именно такого запаха женщины.

— Не обижайся, что я считаю тебя странным, — сказала Валерия. — Наверное, это оттого, что ты какой-то совершенно отдельный от всех. В тебе абсолютно все новое для меня, неожиданное. И ты мне очень интересен. Иногда ощущение, будто подхожу к крутому обрыву. И боязно подойти, и в то же время невероятно интересно — а что же там, в глубине?

— Надо же... — усмехнулся Велешев. — То стену видишь во мне, то обрыв...

— Не обижайся, — погладила она его по щеке. — Я же летящая. Всегда летала поверху, а в глубину старалась не опускаться — считала, что для меня там слишком темно. А там, оказывается, очень интересно. Но пока еще пугает почему-то — сама не знаю, почему.

— Я понимаю.

— И физически... — потянулась она губами к его губам, — меня запросто тянет к тебе. Вот прямо сейчас тянет опять. Только... ребра все-таки...

— Значит, все-таки болят. Вот тебе и обезболивающее. Эх... Болван я сладострастный, а не доктор.

— Не ругай себя. И вовсе они не от этого болят. На них невероятно давит твоя великолепная уха. Надо было бы съесть раза в два поменьше, да уж такая вот я — если попадается что-либо вкусное, то пиши пропало.

— Знаешь что, Валера? Тебе обязательно надо поспать. Пойдем-ка завалимся вместе.

— Ох, не отказалась бы. Но надо хоть помыть посуду...

— Нашла, о чем беспокоиться. А ну-ка — быстренько на боковую.

Она почти сразу же уснула на его плече. И Велешев тоже задремал. И почти уже погрузился в глубину сна, но вдруг что-то словно бы толкнуло изнутри, и он очнулся, открыл глаза. И почувствовал, что в нем теперь все иное, чем было вчера, позавчера и месяц назад, и все последние годы, что ни сегодня вечером, ни завтра утром сердце уже не пошлет в душу щемящий импульс ущербности. “Как же беден мужчина без женщины, — подумалось, — какой приземленной и тусклой кажется без нее жизнь... Фадеич прав — настоящая мужская дружба, истинное взаимопонимание между мужиками хоть и великое дело, надежная подпора, но все равно не заменит того, что дает женщина”. Она дает ощущение полноты жизни. Конечно, если это любимая женщина.

Их не надо понимать, если они есть.

Валерия спала, слегка посапывая, капризные пухлые губы ее были открыты и отчего-то сделались яркими, словно бы налитыми малиновым све-

жим соком. На щеках проступал нежно-розовый румянец, и трудно было поверить, что это лицо взрослой, умудренной опытом женщины — настолько по-детски безмятежным выглядело оно. “Как же удивительно умеет она всему отдаваться, — подумал Велешев, — и любви, и радости, и еде, и сну. Какая вдохновенная в ней сила жизни...” Его тянуло припасть лицом к ее щеке, обнять Валерию крепко, но в то же время хотелось, чтобы она спала как можно дольше. И он лежал, не шевелясь.

Проснулась Валерия часа через полтора. Потянувшись, она длительно и громко, во всю силу, зевнула и сразу же прониклась радостным оживлением:

— Ух, как здорово я выспалась! А ты спал?

— Сам не пойму — то ли спал, то ли грезил наяву. Знаю только, что мне хорошо.

— И мне хорошо. Ничего не болит.

Она опять, как в прошлый раз, выставила колено и, закинув на него ногу, покачивая ступней, запела:

— Ля-ля, ля-ля! Ля-ля, ля-ля!..

Велешев хотел обнять ее, но Валерия, словно спохватившись, загородилась руками:

— Ой, не надо! Наверняка я сейчас выгляжу, как взъерошенная сова. Пойду хоть немного приведу себя в порядок.

И соскользнула с кровати. Умываясь на кухне, она снова запела — с помощью своего “ля-ля” начала выводить мелодию песни “Броня крепка, и танки наши быстры...”

В больницу он провожал ее вечером.

— Выгоняешь, значит... — постаралась она напустить на лицо обиженный вид.

— Выгоняю, — подтвердил Велешев. — Ты ведь пока еще больная, а я твой лечащий врач. В восемь часов тебе должны сделать инъекцию, а на ночь прописано две таблетки. Меня уже совесть мучает. Воспользовался служебным положением — соблазнил пациентку. Ни разу в жизни не нарушал врачебную этику, а теперь вот пожалуйста — вместо того чтобы лечить как следует, испытывал на прочность травмированные ребра пациентки.

— По-моему, ты здорово ошибаешься. Не ты меня соблазнил, а я тебя. Так что считай себя несчастной жертвой, и тебе будет намного легче.

— Не выйдет. Причины любых своих неурядиц я привык видеть только в самом себе.

— Ах, да. Я и забыла. Ну тогда что ж — придется помучиться.

— Да я уже мучаюсь.

— А я — нисколько.

Глава семнадцатая

В больнице Велешев с Валерией усердно старались не выказывать окружающим близости своих отношений — даже наедине, подавляя улыбки, церемонно обращались друг к другу на “вы”. Но поскольку больничный персонал, за исключением двоих водителей, был женским, то именно по этим усердным стараниям главврача и городской его пациентки и было сразу же определено, что у них “закрутилось”. А тот факт, что городская пациентка в воскресенье до самого вечера гостила в доме доктора Велешева, моментально ставший достоянием не только больничных служащих, но и многих жителей Поречья, незыблемо подтверждал, что определение по поводу их отношений сделано безошибочно. К тому же, наверное, нельзя было не заметить перемену как в настроении главного врача, так и в его облике — она явно была к лучшему. И все это, обсуждаемое на ходу полушепотом, вносило в больничную атмосферу дополнительный тонус — врачам, медсестрам и нянечкам, похоже, и на работу-то бежалось быстрее.

Следуя совету Фадеича, Велешев отправил-таки Валерию Сергеевну с Володей в районную больницу, чтобы она сначала побывала у окулиста, а потом показала и невропатологу. Обоих врачей он предупредил по теле-

фону заранее, чтобы никаких препятствий у нее там не возникло. Часа через полтора Отроченков сам позвонил ему.

— Твоя пациентка только что была у меня, — сказал он. — Сейчас, наверное, на обратном пути. У нее все очень неплохо, но я настоятельно рекомендовал ей на работу пока не выходить — необходим восстановительный отдых. Причем желательно в наших благодатных местах. По-моему, она вполне одобряет такое предписание. И даже благодарила за то, что я так тонко умею чувствовать душевные потребности пациентов.

— Что ж, — ответил Велешев, — исходя из твоего предписания, придется рекомендовать ей то же самое.

Вернувшись из райцентра, Валерия сразу же прошла в кабинет к Велешеву и, положив ему на стол заключения врачей, с трудом сдерживая улыбку, спросила:

— Можно присесть, Павел Андреевич? Вроде бы немного устала.

— Присаживайтесь, ради Бога, Валерия Сергеевна, — улыбнулся он. — Посмотрим, что тут у нас...

— Аркадий Фадеевич считает, что курс лечения можно закончить, но...

— Вижу, вижу — настоятельно рекомендует отдохнуть как следует, понадежней укрепить организм. Что ж — я целиком и полностью с ним согласен. — Велешев поднял голову и посмотрел ей в глаза. — Ты останешься?

— Я, может быть, опережаю события, но... еще не доехав до поселка, связалась с Лёнкой по мобильнику — сказала, что пока не надо приезжать за мной.

— Ну и зря. Пусть бы приехал. У нас с ним тут одно дело намечено...

— Вон оно что... — удивленно вскинула она брови. — Даже дела себе успели наметить... Нет, сейчас пусть не приезжает. Обстрияете свои дела как-нибудь потом.

— Что ж, тебе виднее. Жаль только — большую часть времени придется коротать одной. Единственное, что я могу, — это приходиться с работы на час-полтора пораньше.

— Нашел, о чем беспокоиться. Я не коротать буду время, а отдыхать на полную катушку. Купаться пока еще можно, лес, говорят, здесь недалеко, и Анну Тимофеевну надо навещать. Очень хочется спокойно, не отвлекаясь, почитать что-нибудь хорошее. Необходимо позаботиться о нашей с тобой полноценной кормежке, обязательно нужно сделать в твоём доме генеральную уборку — по-моему, давно пора.

— Какую еще генеральную уборку? Ты же сказала, что будешь отдыхать.

— Отдых особенно хорош, когда его чередуешь с полезным делом.

— Но уж сразу-то не налегай.

— Сразу не буду. И обещаю тебе, что в твоё свободное время мы станем выбираться на природу — куда-нибудь подальше, в тихие красивые места.

— Обязательно. Сам без этого не могу.

Когда Володя с Валерией выехали с больничного двора, Велешев несколько мгновений смотрел, как машина удаляется, а потом, словно бы очнувшись, оглядел все вокруг и направился к липе, под которой была скамейка. Он уселся на скамейку, раскинул на её спинке руки. “Как же быстро, — подумалось, — как стремительно произошло все у нас с Валерией... Неужели это правда, и это всерьёз? Разве так бывает?”

То, что завязалось с Валерией, абсолютно не похоже на прежнее. Поистине — будто гром среди ясного неба, как ослепительная вспышка молнии в ночи. Голова-то уже седая, в душе тяжкий груз многих, особенно последних лет, и вдруг... Столь неожиданно, так стремительно... Никакого тебе длительного восхищения-поклонения, никакого чинного-благородного шествия к душевному и прочему родству, а сразу же, с первой встречи наедине, неудержимо завязалось все в единый узел. Разве так бывает? Хм, если случилось — значит, бывает.

И Велешеву подумалось вдруг с едва уловимой глубинной тревогой, что он совсем почти не знает Валерию — не знает ничего о прошлом её, не знает толком и о её настоящем. Характер, жизненные устремления еще как-то

просматриваются, но вот какой груз прошлого несет она в душе? Это пока за семью печатями. Когда такие отношения завязываются в молодости, там все довольно-таки просто. Там двое начинают с нуля, никакого прошлого у них нет, ничто и никто между ними не стоит, и смотрят они только друг на друга да предаются мечтам о будущем. А здесь... Валерию уже что-то пугает в тебе, уже углядела какую-то стену. Да, здесь наверняка еще не раз встанет стеной между тобою и ею твоё и её прошлое. И настоящее тоже. Не раз, наверное, столкнутся, высекут горячие искры твои и её устоявшиеся взгляды на жизнь, твои и её принципы, привычки. И весь вопрос в том, удастся ли совместить их так, чтобы из искр не возгорелось всепожирающее пламя, объединить груз прошлого с таким расчетом, чтобы обоим стало легче... Надо, чтобы удалось. Не зря же ведь так сильно тянет друг к другу, влечет сквозь все несоответствия.

“А ведь Валера сейчас дома... — словно бы очнулся вдруг Велешев. — Она в моем доме!” И радость от мысли, что, придя с работы, увидит Валерию, услышит опять её заразительный колокольчиковый смех, всплеснулась у него в душе, мгновенно смыла в ней все тревожное и тягостное.

Глава восемнадцатая

Войдя в дом, Велешев остолбенел. На кухне сидели за столом Валерия и его сестра Антонина и обстоятельно чаевничали. Они, судя по всему, были поглощены каким-то задушевым разговором, и при появлении хозяина дома по инерции даже глянули на него не слишком приветливо, поскольку пришлось прервать разговор.

— Проходите, господин доктор, — мгновенно зажглись в глубине темных глаз Валерии озорные огоньки. — Чего это вы так растерялись? Вы, в самом деле, у себя дома. Среди родных и близких людей.

— Чайку, Пал Андреич, горяченького сейчас вам нальем, — в тон Валерии продолжила Антонина. — И сахарку в него положим побольше, чтобы было послаще...

— Надо же... — обретая наконец дар речи, покачал он головой. — Они уже успели спеться.

— И не только спелись, — усмехнулась Валерия, — но и вальс домохозяек успели сыграть в четыре руки.

И лишь теперь Велешев заметил, что в доме все ухожено, тщательно прибрано, ощутил отрадный запах свежeweымытых полов.

— Благодать, дамочки... — глядя по сторонам, с наслаждением втянул он в себя воздух. — Но мы ведь, кажется, договаривались, Валерия Сергеевна, чтобы сразу не налегать.

— Это я виновата, — сказала Тоня. — Шла мимо — гляжу, замка на воротах нет. Пал Андреич мой, думаю, почему-то сегодня дома. Ну и решила зайти, сделать уборку, пока время есть. А тут Валерия Сергеевна...

— Лера, — поправила её Валерия. — Господин доктор пусть называет меня как угодно, а для тебя, Тонечка, я просто Лера — мы же договорились. Ну и как вы себе это представляете, Павел Андреевич? — продолжала она. — Ваша сестра пришла делать в доме уборку, а какая-то проникшая в дом без хозяйина дамочка будет сидеть сложа руки и смотреть, как она наводит чистоту? Или, по-твоему, мне надо было, восседая в кресле, руководить, указывать ей, где и что нужно привести в порядок? Мы познакомились да и навалились вместе. А за делом и подружились. И чувствую я себя истине великолепно.

— Ну, тут уж, конечно... — вынужден был признать её правоту Велешев. — В этой ситуации, пожалуй, иначе было нельзя. Что ж, коль такое дело, то одним чаем нам вряд ли обойтись. Я, кстати, прихватил с собой кое-что.

Он поставил на стол бутылку вина, и Валерия захлопала в ладоши, огласила дом весьма громким “ура!”.

— Вполне понимаю такую радость, — с трудом сдерживая улыбку, ска-

зал Велешев, — но желательнее, Валерия Сергеевна, чтоб хотя бы на этом поприще ваши труды носили чисто символический характер.

— Нет, ты только послушай, — моментально проникшись возмущением и засверкав глазами, воззрилась она на Тоню. — Это Бог знает что, домостроевщина какая-то. Он всегда, что ли, такой — готов на корню загубить любую радость?

— Да нет, не всегда, — погладив ее руку, улыбнулась Тоня. — Это он только с виду. Жалует тебя, а ты и радуйся. Мой вон сроду и не спросит, как я себя чувствую.

— Ладно, — обратила Валерия на Велешева все тот же сверкающий взгляд, — будем радоваться. Доктор Велешев, решительно заявляю вам, что с сегодняшнего дня мое здоровье полностью в моих собственных руках.

— Для меня, как для врача, такое заявление звучит трагически.

— Вы ведь выписали меня из больницы?

— Нет, не выписал.

— Как так? Почему?

— Забыл. И теперь благодарен себе за это. Завтра воскресенье — посмотрим, как будешь себя вести. А в понедельник, может быть, и выпишу.

— Изверг.

— Господи... — покачав головой, рассмеялась Тоня. — Какие же вы оба интересные. Говорите вроде бы по-взрослому, а все равно как дети.

Раскупорив бутылку, Велешев, однако, налил вина всем по полному бокалу.

— Ну, Тоня, — поднял он свой бокал, — давай говори. Мы с Валерией свои тосты уже сказали, а сегодня, по-моему, первое слово за тобой. Ты ведь у меня старшая — вместо матери.

— Да что я скажу... — смутилась Тоня. — Дай вам Бог всего хорошего — вот что я скажу. Берегите уж друг друга Христа ради...

И она вдруг судорожно всхлинула, из глаз покатались слезы.

— Ну-у, сестрица... — погладил ее по плечу Велешев. — Уж такой-то поворот, пожалуй, совсем ни к чему.

— Да это я так, Паша... — махнув рукой, улыбнулась Тоня сквозь слезы. — Наверно, от радости. Оттого, что смотреть мне на вас хорошо. Ну и... вот возьму да и выпью все вино!

И в самом деле стремительно осушила бокал до дна, лихо припечатала его к столу.

— Вот так-то я за вас!

— И-эх!.. — заражаясь ее лихостью, возгласила Валерия. — Разбежались да взлетели!

И отпила сразу едва ль не полбокала.

Велешев изумленно смотрел на них, перебегая взглядом с одной на другую, и вдруг азартно тряхнул кулаком:

— Ы-ы, лететь — так лететь! Да по прямой, а не зигзагами!

И опорожнил свой бокал в три глотка.

Потом они переглянулись и расхохотались все, долго смеялись.

— Вот так же дружно чтоб и всегда, — смахивая слезу, набежавшую теперь от смеха, сказала Тоня.

Щеки у нее налились румянцем, светлые глаза сияли веселой ласковостью.

— Да если всегда так дружно, — ответил Велешев, — то через полгода мы все трое окажемся в наркологии.

— Я не про это, а про то, чтоб в отношениях, в любви.

Тоня посидела с ними еще немного и засобиралась домой.

— Пойду, а то, небось, обыскались меня там — куда-то, скажут, запропастилась. А я, дорогие вы мои, совсем уж опьянела. Охота идти и петь. Помнишь, Паша, как отец-то наш? Бывало, выпьет с получки и домой идет — поет. А мама по этому пению издали определяет, что он идет, и бежит его встречать. Встретит — и шагают они в обнимку, поют вместе. Да песню-то какую-то мудреную все пели: “Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горь в огне...” Если встретит она его, то отец ласковый, добрый — гостин-

цами нас оделяет, гладит по головам и приговаривает: “Хорошки вы мои!” А если не встретит, замешкается мама где-либо по делам, то он метров за пятьдесят от дома петь прекращает и в дом входит хмурый, недовольный. Гостинцы бросит на стол, а когда разувается — один сапог швырнет налево, другой направо... Помнишь?

— Да как же не помнить, Тонюшка.

— Эх, запела бы и я сейчас, да люди осудят. Уж больно осудительный пошел народ. Да и своих боюсь напугать — чего-то, скажут, ошалела наша маманя. Отдыхайте тут, осваивайтесь. Дай-то вам Бог. Пойдем, Паша, ворота за мной закроешь на засов, чтоб не одолевал вас никто.

У ворот сестра сказала ему:

— Интересная Лера женщина — видная, живая. Девичьего задору хоть отбавляй. И в деле моторная. Я приглядывалась — в руках у нее все кипит. Дальше как думаете? Она работает в городе, ты здесь...

— Об этом еще не успели подумать. Пока, слава Богу, что сейчас мы вместе.

— Конечно, большое дело. Есть куда голову приклонить.

Когда Велешев вернулся в дом, Валерия подошла, положила руки ему на плечи и, глядя в глаза, перебегая сияющим взглядом с одного на другой, сказала:

— Хорошая у тебя сестра. Она мне очень понравилась.

— Она как будто родилась для того, чтобы приносить себя в жертву.

— И глаза у вас с ней похожи, только у нее они намного теплей.

— А у меня что же, — обнимая ее за талию, улыбнулся он, — такие уж холодные?

Скрипнули ворота на противоположной стороне улицы, их створка приоткрылась, и в проеме показалась на мгновение седая голова соседки Полины Ивановны — соседка вышла, чтобы убрать подворотню. С ее двора тут же высыпали на улицу куры во главе с петухом — коричневые все, почти красные. А огненного петуха к тому же еще украшали воротник из темно-зеленых, с золотистым отливом перьев и пышный, с крутым изгибом, хвост малахитового цвета. На улице куры замерли на несколько мгновений, словно бы ошеломленные своей свободой, а петух, подтянувшись, выпятив грудь, выступил вперед и громко захлопал крыльями. И вскинув голову, увенчанную багровым гребешком, выдал миру яростно-вдохновенное “ку-ка-ре-ку”.

Переулками они вышли на окраину поселка и по тропе стали спускаться в ложбину, которая в пору велешевского детства была голым оврагом с отвесными обрывами, зияющими множеством нор ласточек и стрижей. Теперь же здесь все было полого, зелено от густой травы, липовых и черемуховых кустов, а на дне ложбины, где, казалось бы, должен царить угнетающий полумрак, было светло от стволов берез, стоящих понизу и по склонам, и веяло необъяснимым уютом.

— Как тут удивительно... — остановилась и стала оглядывать все вокруг Валерия. — Совсем рядом селение, люди с их бесконечными делами, заботами и проблемами, а тут будто бы какой-то обособленный от всего, успокоительный мир. Все эти зеленые впадины и всхолмления, эти ослепительные березы, похожие на большие свечи... А сколько птиц, какой волшебный посвист и щебет... Просто не хочется отсюда уходить. А запах какой — душицей пахнет и еще чем-то невыразимым...

— Здесь в самом деле волшебню, — подтвердил Велешев. — Стоит только спуститься сюда, и все, что тяготило, словно бы остается там, позади.

— Давай посидим тут где-нибудь.

— Сейчас роса, земля сырая. Лучше на обратном пути. Пойдем дальше — здесь каждое новое место впечатляет по-своему, диктует сердцу свое.

Велешеву вспомнилось, как бродил он тут несколько лет назад после тяжких своих потерь и думал, что в отличие от земной раны на месте раны душевной вряд ли так же вот счастливо может образоваться нечто утешающее, возвышающее и умиротворяющее. Казалось тогда, что даже и думать-то о таком попросту глупо. Но вот прошло время, не столь уж и много его прошло... И лежащая внизу волнообразная красота, и все обозримое вокруг,

просвеченное набирающим высоту солнцем, озвученное немудреными птичьими голосами и потаенным стрекотом проснувшихся кузнечиков, будто бы слилось с твоей душой, будто бы все это необъятное и есть твоя душа — возвышенно-чуткая, умиротворенная. Невыразимая радость сердца, ошеломляющая полнота жизни... И это потому, что рядом женщина, которую твое сердце приняло и полюбило.

“А что у нее сейчас на душе?” — с мимолетной тревогой глянул он на Валерию. — Такие же чувства или она воспринимает это все как-нибудь по-иному?..”

Валерия обзревала все вокруг с неподдельным восторгом, глаза ее влажно сияли.

— Надо же... — сказала она. — Это... Я даже выразить не могу. Вот уж не думала, что ранним утром природа может так сильно владеть душой. Ты понимаешь — до самых глубин... Я же всегда ложусь поздно и сплю подолгу, на работу являюсь к десяти. А тут... Господи, как хорошо, что мне удалось проснуться, и ты взял меня с собой! Дай, поцелуй тебя за это.

Валерия обняла его, и они влились друг в друга.

— Ох... — выдохнула она ему в ухо. — Жаль, что трава кругом холодная и сырая...

— Ничего, — улыбаясь, смотрел Велешев в ее пылающие вишневым огнем глаза, — земля скоро согреется и трава просохнет.

Тропка вела через рощицу дальше и по-прежнему забирала вверх, но теперь уже чуть заметно. И вскоре открылось перед ними цветастое поле, являющее собою обширный, слегка приподнятый холм. И светлым родством просквозило Велешеву душу, когда он увидел свои сосны, величаво стоящие в центре поля. “Так-то вот оно, дорогие мои... — мысленно обратился он к ним. — Я теперь тоже не один. Посмотрим, как на сей раз встретит меня моя “Голгофа”. От полевого разноцветья рябило в глазах, и травы были густыми, высокими, почти по колено. Валерия замерла и некоторое время стояла, ошеломленно окидывая взглядом это мерцающее росинками великолепие. Потом она увидела вдалеке сосны и поразилась еще больше.

— Это... сосна ведь там стоит?

— Две сосны. Ну да, отсюда кажется, что одна.

— Как они туда умудрились забраться-то?

— Не знаю. Может, когда-то сосновый лес тут был. Им, наверно, больше ста лет.

Они свернули с найденной тропы, которая вела краем рощи вправо, к деревеньке, виднеющейся вдалеке, и в высокой траве сразу же промочили ноги. Однако обильная роса была лишь вблизи рощи, а в открытом поле, залитом солнечным светом и овеваемом легким ветерком, трава уже начала просыхать. Велешев шагал впереди, стараясь поплотнее приминать траву, чтобы удобнее было идти Валерии, и с наслаждением вдыхал смешанный, пьянящий аромат полевых цветов, привычно наблюдал на ходу, с каким вдохновенным усердием работают на цветах пчелы, шмели, божьки коровки, изумрудно-золотистые жучки...

— Колокольчики... — отрешенно бормотала за его спиной Валерия. — Как я люблю колокольчики... И какие же они тут высокие, чистые, нежные... И мы их топчем. Обязательно нарву букет.

К соснам они выбрались, как на остров. Под могучими деревьями и вокруг них трава была мелкой и жесткой — каждую осень сосны устилали тут землю отмершими иглицами, и нежным полевым травам такая среда не слишком подходила. А эта, щетинистая, растущая кочками, уже совершенно просохла от росы и тепло пружинила под ногами. Валерия медленно обошла сосны, оглядела их снизу доверху.

— Удивительно... — вздохнула она. — Откуда они тут взялись? Стоят вдвоем на этой высоте — будто царствуют над всей округой. И веет от них мудростью.

— Да, — подтвердил Велешев, — много в них того, что берет за душу.

Он стоял, привалившись спиной к мощному, словно бы литому из красной меди, нижнему суку одной из сосен, щурясь от солнца, вглядывался

душевым зрением во все окружающее и уже чувствовал, что распятие одиночеством, которое испытывал, приходя на эту высоту прежде, теперь кончилось для него. Яркой бирюзой сияла вдали огибающая село река, за ней, над зеленым полотном лугов, стелилась горизонтальная полоса белесого тумана, и, подчеркнутый этой полосой, лес на дальнем плане казался отсюда сказочно-синим. Наверное, только здесь, на высоте, погуливал проснувшийся недавно легкий ветерок, а там, ниже, еще продолжала владеть всем сущим блаженная дремота.

Валерия подошла, прижалась к нему, обняв его предплечье, и некоторое время молча смотрела вдаль, в сторону реки, потом обвела взглядом все вокруг.

— А ты, Велешев, — тихо сказала она, — не просто так привел меня сюда. Ты меня привел сюда со смыслом.

— С умыслом, Валера, — усмехнувшись, коснулся он лбом ее лба. — Только вот рассудок тут ни при чем. Это умысел сердца. В который уж раз убеждаюсь, что оно гораздо точнее, чем разум, подсказывает, в какую сторону надо идти. Ну, и как тебе такой умысел?

— Этот умысел... Этот смысл... У меня слов нет.

— Да и не нужны они.

Глава девятнадцатая

Бывает же так — когда хочешь выкроить, выцарапать у повседневной деловой заводилочки хотя бы один лишний часок для дела душевного, сокровенного, то сразу же будто кто-то невидимый злорадно нажимает где-то свою специальную кнопку, и неотложные заботы-хлопоты наваливаются на тебя еще сильнее, даже прямо-таки с какой-то изощренной издевательской силой.

Велешев, как и обещал Валерии, старался вырваться с работы пораньше, однако и дня не проходило, чтобы его не выдернули обратно в больницу во внеслужебное время. Случалось, выдергивали за вечер не раз, а однажды даже достали, когда они с Валерией были у святого источника далеко за селом. Дежурная медсестра, позвонив ему на мобильный телефон, обрисовала ситуацию, и Велешев, объяснив ей, какую помощь надо оказать поступившему больному безотлагательно, сказал, что сейчас же направляется в больницу и велел немедленно выслать навстречу машину.

Валерия поначалу воспринимала это все как должное, потом начала понемногу напрягаться и, в конце концов, всплеснула руками:

— Господи ты Боже мой! Доктор Велешев, вот это вот все... это всегда, что ли, так?

— Да нет, госпожа Ольховцева, — пряча усмешку, пожал он плечами, — это только при вас. Сам диву даюсь.

— Ты всерьез, что ли?

— Да, конечно, всерьез. Всегда и отдохнуть времени хватало, и почитывать успевал. А как только ты появилась, повалилось все на меня, будто с цепей посрывалось.

— При чем тут я? — округлила она глаза.

— Не знаю. Может, какая-то нечистая сила злится, не хочет, чтобы мы были вместе. Чистой-то силе с какой бы стати вредить нам?

— Хм... — глядела она на него, не понимая, шутит он или говорит на полном серьезе. — Опять эта твоя мистическая глубина. Однако... наверное, стоит поразмыслить все-таки...

В свою рекламную контору Валерия звонила постоянно, и ей называли оттуда без конца.

— Не могут без няньки — и все тут! — возмущенно разводя руками, сетовала она.

Там у них вроде бы всё шло неплохо, но была и неприятность. Несколько месяцев назад Валерия предложила одному довольно крупному предпринимателю интересный, очень оригинальный, как она считала, рекламный проект, над которым сама работала не одну неделю. Предприниматель все это время “тянул резину” — надо, мол, изучить как следует, прикинуть за-

траты, посоветоваться с соратниками... И вот вдруг выяснилось, что именно этот проект для этого деятеля воплощает в жизнь совсем другая рекламная контора. Судиться с наглым вором, выводить его на чистую воду не имело смысла — издержки могли оказаться слишком серьезными, причем не только финансовые. Рассказывая об этом, Валерия потемнела, губы ее искривились презрительная, с примесью горечи, усмешка.

— Эти бандюги и ворюги, — процедила она сквозь зубы, — деньги сумели отмыть, а нутро свое, видать, уже никогда не отмойт. Чувствовала ведь, что нельзя связываться, а все-таки понесло меня к нему.

— Не переживай, — попытался успокоить ее Велешев. — Не на тебе, так еще на ком-нибудь обязательно споткнется. Такие, в конце концов, всегда падают мордой в грязь, потому что зло наказуемо. Одна эта мысль должна приносить облегчение.

— Зло наказуемо? Ничего подобного. Сейчас наказуемо добро. Но я не столько этому типу, сколько самой себе удивляюсь. Прекрасно ведь знала, на чем он поднялся, а вбила в свою садовую голову какую-то дурацкую иллюзию и помчалась к нему. Ты вот лучше объясни мне: что же это за сила такая толкает человека, чтобы он поступал себе во вред?

— Дьявольская, наверно, как ее иначе назовешь... — отвел он взгляд в сторону. — Сначала ослепит, чтобы ты шел не туда, куда надо, а потом внезапно возвращает зрение, чтобы, оглядевшись, ты пришел в отчаяние.

— Вот, вот, — смотрела на него Валерия во все глаза. — Именно так. Со мной такое часто бывает — против моей воли словно кто-то толкает или тащит меня не туда, куда надо. Я от этого сильно мучаюсь потом. Кстати... тебе первому об этом говорю.

— Да скорее всего каждому оно знакомо, это неожиданное ощущение внутренней несвободы, душевной зависимости от чего-то или кого-то нехорошего, вредного.

— Ну, это уж мое дело, что мне там покажется. Я хочу знать, как ты думаешь.

— Я думаю, что по-настоящему свободным от любой нечисти можно стать только тогда, когда научишься видеть и понимать самого себя. Если это есть, то сумеешь нащупать сердцем, определить свое самое святое и жить им, руководствоваться им как путеводной звездой.

— Хм, красиво... Но ведь, наверно, у каждого есть что-то свое, святое.

— Нужно не просто “что-то”, а то, что придает жизни высший смысл, освящает ее. Ну, к примеру... Как там, на моей “Голгофе”, когда мы с тобой стояли возле сосен. Если человек умеет находить это в жизни вопреки любым пагубным влечениям и обстоятельствам — он в любом случае спасен.

— Люди крутятся кто как может, — сказала Валерия, — каждый пытается получше устроить свою жизнь. И когда, где в этой свистопляске искать высший смысл?

— А устроить жизнь получше не удастся, если не найдешь его. Человек без него и сам страдает, и людям возле такого нелегко. Сердце, которое не имеет святыни, цепляется то за одну возможность, то за другую, мечется от одного дьявольского зова к другому и не может по-настоящему привязаться ни к чему. Рядом с таким человеком опасно, потому что он в любое время может начать думать по-иному, способен в один миг измениться сам, изменить кому угодно и отречься от чего угодно.

— Уж не предполагаешь ли ты во мне все эти качества только потому, что я обратилась со своим проектом к предпринимателю с темным прошлым?

— Именно такой сокрушительной женской логики я как раз и боялся, — рассмеялся Велешев. — Смею тебя уверить, что мысли, которые я сейчас высказал, были навеяны мне задолго до того, как ты обратилась со своим проектом к предпринимателю с темным прошлым.

— Да пошутила же. Вообще-то мысли интересные. Многозначительно и весьма поучительно. Видишь — я даже в рифму заговорила.

Сыну она тоже звонила каждый день — справлялась о его житье-бытье, длительно наставляла, чем и как лучше питаться, строго внушала, чтобы с Викой он обходился истинно по-джентльменски.

— Вика, — объяснила Валерия Велешеву, — это Лёнькина подруга, которая влюблена в него “по уши”, а он в нее всего лишь “по ноготь” и не уделяет прелестной как личиком, так и характером девочке должного внимания.

Лёнька, судя по всему, с терпеливым почтением выслушивал все эти указания матери, но, как предполагал Велешев, действовал там сугубо по-своему. Однажды он позвонил Велешеву на работу, тепло поздоровался и вдруг словно по лбу огрел:

— Насколько я понимаю, Павел Андреевич, у вас с моей матерью образовались близкие отношения?

— Густо краснею, Лёня, — ответил тот, — но считаю своим долгом подтвердить, что это действительно так.

— Да чего тут краснеть, — сказал Лёнька. — Чтобы вы не краснели, считаю своим долгом заявить вам, что я этому искренне рад.

— Огромное тебе спасибо за настоящее мужское понимание.

— Бросьте вы. Теперь, считай, свои люди — сочтемся. Хочу только предупредить, Павел Андреевич, — тоже истинно по-мужски: не думайте, что вам с ней всегда будет легко. Я уже говорил: моя мать не как все, она существо особое. С ней может быть насколько легко, настолько же и тяжело. Короче... и ответственность за нее — это особая ответственность, очень не-легкая.

— Я это чувствую, Лёня. И я это понимаю. Да и возраст не тот, чтобы жить иллюзиями.

— Ну и слава Богу. Я бы приехал, но она пока чего-то вроде бы стесняется меня.

— Коньяк твой, между прочим, стоит, ждет своего часа.

— Хм, надо же... Что ж, будем ждать, когда госпожа Ольховцева ударит в колокол.

В одну из ночей Велешева вызывали в больницу дважды. Около полуночи плохо стало с сердцем у стационарной больной, а потом, часа в три, доставили парня после поножовщины в ночном кафе. Проникающих ранений у него, слава Богу, не было, однако глубокие касательные пришлось штопать довольно долго. Вернулся Велешев домой уже на рассвете, и как ни обеззвучивал свое появление, Валерия все-таки проснулась. Она села спиной к стене, подобрав под себя ноги и закрывшись одеялом, смотрела на Велешева, часто моргая, и выглядела, будто испугнутый зверек.

— Извини, — погладил он ее по плечу. — Жуть, как жалко тебя, но что ж тут поделаешь...

Валерия перестала моргать, шумно вздохнула носом и произнесла напряженным тоном:

— Мне интересно понять, чего же всё-таки ты в этой жизни хочешь?

— Сейчас я хочу, чтобы ты уснула крепче и выспалась как следует.

— Нет, скажи, чего ты добиваешься этим своим упрямым самопожертвованием, этой смиренной поденщиной?

— Ах, вон ты о чем... — опустив глаза, он помолчал немного, а потом глянул на нее в упор посветлевшим взглядом. — Ничего я не добиваюсь. Просто учусь блиости свое достоинство, ни на что не притязая.

И она почему-то растерялась от этого взгляда и от этих слов, улыбнувшись неестественно, поймала велешевскую руку, примирительно ткнулась в нее лбом.

— Ну ладно, достойный ты наш. Давай-ка в самом деле попробуем поспать. На работу пойдешь ко времени или сначала выспишься?

— К восьми, как всегда. А вернуться постараюсь пораньше.

С котом Федором отношения у Валерии складывались весьма своеобразные. Она Федору явно нравилась. Стоило Валерии сесть на диван, как он вспрыгивал туда же и возлагал переднюю часть своего туловища на ее бедро, словно давая понять, что хозяин для него так себе, а с ней ему желается наладить теплое доверительное общение. Она начинала гладить его, почесывать между ушей и шею возле подбородка, и Федор, стараясь ответить “добром на добро”, принимался мять передними лапами ее ногу выше колена, конечно же выпуская при этом когти.

— Ой! — вскакивала Валерия. — Как больно! Он же мне колготки по-рвет!

Кот в испуге прыгивал с дивана и, усевшись посреди комнаты спиной к хозяину и его подруге, медленно водил по полу хвостом, показывая тем самым, что он сильно обижен и разочарован.

— Почему они так мнут-то своими лапами, — возмущалась Валерия, — да еще и когти выпускают?

— Они думают, что доставляют нам высшую радость, — отвечал Велешев.

А через некоторое время подобная же сцена благополучно повторялась.

— Глянь, — показала как-то Валерия Велешеву многочисленные мелкие царапины на своем бедре. — Вот что натворил твой Фердинанд.

— Хм... — нахмурился Велешев. — Я только успел отремонтировать одно твое бедро, а этот прохиндей уже портит другое. Хотя он же ведь думает, что ласкает его. Любит, подлец, тебя. Подозреваю даже, что ревнует ко мне. Вчера ни с того ни с сего вцепился зубами в ногу, хорошо, что в тапок. А ты, кстати, позволяешь ему бедро-то твое портить...

Валерия смотрела на него, распахнув глаза, не зная, что сказать, а потом покачала головой и вздохнула:

— Ну и выдумщик...

Довелось ей познакомиться и еще с одним представителем окружающего Велешева животного мира. Велешев давно уже взял себе за правило выходить из дому на службу не позже, чем за час до ее начала, чтобы успеть сделать быстрым шагом довольно значительный крюк по окраинам села — настроить душу общением с природой. Валерия позавидовала и, если чувствовала себя более-менее выпавшейся, отваживалась иногда на такую стремительную прогулку вместе с ним. К тому же ей теперь необходимо было ходить побольше — разминать травмированные ноги. После прогулки они направлялись каждый в свою сторону — Велешев к больнице, а Валерия, если погода благоприятствовала, к реке, чтобы искупаться. Собираясь в первый такой вояж, она глянула в окно и обомлела.

— Паша... — оцепенело повернулась Валерия к занятому бритьем Велешеву. — Там... напротив дома... Там сидит какое-то странное существо и смотрит на наши окна. Глаз не видно, но, по-моему, смотрит. Обезьяна, что ли...

— Черный?

— Ага.

— Это Амфибрахий.

— Кто?

— Амфибрахий, пес тети Даши, которая живет в верхнем конце улицы. Мы с ним дружим. Это он за угощением пришел — знает, когда я встаю. Достань там из холодильника то, что завалилось, — остатки колбасы, еще что-нибудь и брось ему в форточку.

Валерия достала и бросила с опаской.

Этот пес действительно являл собою нечто странное. Довольно рослый, длинноногий, он был черным, как смоль, и кудрявым, как баран. Густые, жесткие кудри скрывали его физиономию так, что ни глаз, ни даже носа не просматривалось. Лишь когда он высовывал от жары язык, казавшийся на черном ярко-красным, то еще можно было сделать вывод, что это, пожалуй, собака. Он обладал удивительной добротой и был очень понятлив — Велешев предполагал, что Амфибрахий понимает абсолютно все, что ему говорят. Однако доброта его распространялась только на тех, кто относился к нему хорошо, а с теми, кто пытался причинить обиду, — будь то собака или человек — он мог обойтись весьма решительно. Окрестные собаки побаивались Амфибрахия — наверное, им становилось не по себе лишь от одного его вида. Являя свою независимость, он частенько лежал возле дома тети Даши, причем всегда почему-то очень близко к проезжей части улицы. Велешев шел однажды мимо не в лучшем настроении и остановился, спросил со вздохом:

— Что, брат, одиноко тебе?

Пес поднялся и почтительно переступил с лапы на лапу.

— Хм, да ты, оказывается, уважительный, — погладил его по голове Велешев.

Уходя, он обернулся — собака, будто изваяние, сидела в той же позе, и хотя глаз ее не было видно в густых кудрях, чувствовалось, что она с сожалением смотрит в след.

— Ну, пойдем, — кивнул Велешев в сторону своего дома, — проводи меня, если хочется.

И поразился, когда собака встала и пошла за ним. Возле своего дома он сказал провожатому:

— Посиди тут, подожди маленько — я сейчас тебе чего-нибудь вынесу.

Пес сел и стал ждать. И Велешев вынес ему кусок колбасы. А утром глянул в окно и увидел, что тот опять сидит и ждет, словно и не уходил никуда. Издалека он, и в самом деле, напоминал грустную обезьяну. Так они и подружились. Постепенно изучив утренний распорядок Велешева, пес являлся как раз ко времени, когда тот просыпался. Получал угощение, которое хозяин дома бросал ему в форточку, и дожидался у ворот. Велешев выходил, и пес почтительно приближался к нему — дескать, как настроение? Тут тоже установился ритуал — надо было обязательно погладить, потрепать собаку по голове. Если Велешеву было слишком уж мутно от одиночества, то он пригласил лохматого друга с собой на прогулку, и тот сопровождал его. Дорогой Велешев высказывал иногда собаке свои нелегкие мысли, и, несмотря на то что она не могла ему ответить, на душе все-таки становилось легче. А если хотелось пройтись сугубо одному, то он ласково отсылал Амфибрахия домой, и тот ревматической какой-то походкой послушно ковлял вверх по улице.

— Надо ведь удосужиться, — поразила Валерия, — собаку так называть — Амфибрахий.

— Это я назвал, — вынужден был признаться Велешев. — Его вообще-то Брахманом зовут. Ну что это за имя — зловещее какое-то. Что-то индийское, мракобесное... А это же великолепно — Амфибрахий. Уважительно, поэтически, классически... Он именно такого достоин, и ему нравится.

— Амфибрахий... Знакомое что-то.

— Да стихотворный размер. Помнишь: ямб, хорей? А там еще анапест, амфибрахий... Звучит-то как!

— Господи... Ну и чужак же ты.

Когда они вышли на прогулку вместе, пес приблизился к Велешеву на сей раз как-то вроде бы сконфуженно, и тот подбодрил его, традиционно потрепав по голове:

— Не стесняйся, Амфибрахий. Знакомься вот — это Валерия Сергеевна Ольховцева, по-моему, наш человек. И... пожалуй... проводи-ка ты нас сегодня по такому случаю в качестве эскорта. Пошли, брат.

И пес пошел за ними. Через сотню метров Валерия оглянулась — он не отставал.

— В самом деле за нами идет... — пораженно воззрилась она на Велешева.

— Так я ведь попросил его в качестве эскорта...

— И он что же — до конца будет следом тащиться?

— Конечно. Он исполнительный.

— Ну... ты... Это ни в какие рамки... Идет заслуженный, уважаемый человек... доктор наук, главный врач больницы... Идет со своей дамой, а за ними тащится этот похожий на обезьяну пес. Люди же встречаются, все село будет над нами смеяться.

— Все село давным-давно знает о моей дружбе с Амфибрахией, и я не замечал, чтобы кто-то смеялся.

— Нет, если тебе хоть бы хны, то мне неудобно. Ты можешь ему приказать, чтобы он шел к себе домой?

— Конечно, могу. Только не приказать, а попросить.

— Попроси, пожалуйста.

— Амфибрахий! — сказал Велешев. — Ты не обижайся — у женщин это бывает. Эскорт отменяется — иди домой, отдыхай.

Он подошел, погладил собаку по голове и повторил:

— Иди домой, брат. Спасибо тебе.

И Амфибрахий направился обратно — сначала поковылял ревматическим своим шагом, а потом побежал неспешной трусцой.

Валерия, глядя ему вслед, покачала головой:

— Да он же, наверно, старый совсем. И, похоже, больной...

— Совсем... — вздохнул Велешев. — Но это не мешает ему быть добрым.

— Откуда он такой взялся-то здесь?

— Какие-то родственники привезли его к тете Даше из города. Стареть стал, вот и нашли кому спихнуть.

— Ну, Велешев... — шумно втянув носом воздух, сокрушенно развела руками Валерия.

— Чему ты удивляешься?

— Да я уже сказала. Известный человек, всегда на виду... И в таком статусе ходить в сопровождении несчастного полубродячего пса...

— Что ж тут зазорного? — с веселыми искорками в глазах глянул на нее Велешев. — Что плохого, если собака и человек понимают и уважают друг друга? Плохо другое — что люди зачастую не умеют и не желают понимать друг друга, грызутся до смерти. Мы с Амфибрахией живем на одной земле, жизнь Амфибрахия, как и моя, вилетена... — он широким жестом обвел все окружающее, — в эту вот божественную ткань. И с какой стати мне вылезать из этой ткани отдельной ниткой? Почему я должен не жить, а фигурировать?

— Нет, все-таки ты удивительный чудак.

Однажды Валерия, спохватившись, спросила:

— Слушай, а у тебя есть своя машина?

— Никогда не было.

— Почему? Неужели денег не хватало?

— Раза два почти хватало. Но, во-первых, у меня времени не имелось, чтобы возиться с машиной, а, во-вторых, перспектива стать рабом железяки мне всегда претила.

— Рабом?! — округлила глаза Валерия. — Наоборот — с машиной ты сам себе хозяин. Сел и поехал, когда тебе надо и куда угодно. Машина-то как раз и экономит твое время. А рабом чувствуешь себя, когда в троллейбусе мнут со всех сторон.

— Меня хоть и мнут в троллейбусе, но душа-то свободна. Я могу с интересом наблюдать за людьми, незаметно любоваться красивым женским лицом, глядя на человека, предполагать, что у него на сердце. Могу смотреть в окно на пробегающую мимо жизнь, а если сижу у окна, то увижу и небо, плывущие по нему облака. Я, наконец, могу в троллейбусной толчее отрешиться от всего и уйти в себя, мысленно анализировать недавно прочитанную книгу или обдумывать ход предстоящей хирургической операции... А человек, который сидит за рулем собственного автомобиля, — что представляет собою он? Если он едет по городу, то все его внимание поглощено встречными и обгоняющими машинами, светофорами, переходящими улицу пешеходами. Он только и думает, как бы в кого не воткнуться, как бы кого не сбить и как бы не воткнулись в него. Ну разве это не раб?

— Да почему обязательно раб?

— А кто же он? Причем иной такой раб особенно жалок еще и тем, что, усевшись за руль, мнит себя царем.

— Ну... Ты... — едва не поперхнулась Валерия. — Совсем уж... В наше время, в такой век... как можно отрицать то, что автомобиль дает огромное преимущество?

— А я и не отрицаю. Конечно, дает, когда надо оказать помощь. А если человек не может жить без него? Тогда это не что иное, как зависимость, несвобода.

— Ты, значит, считаешь, — ехидно усмехнулась Валерия, — что все, кто покупает машины, стремятся стать несвободными, зависимыми?

— Пожалуй, так. Разумеется, неосознанно. Ведь жить по-настоящему

свободным очень тяжело, на это способен далеко не каждый. И потому большинство людей инстинктивно стремится к какой-либо зависимости. А поскольку слово “свобода” им очень нравится, то именно зависимость-то они этим словом и величают. Зависимость от автомобиля удобно называть свободой — как же иначе назовешь, если его раб, восседая за рулем, мнит себя царем?

— Ты, Велешев, непробиваемый! — возмущенно встряхнула Валерия кулачками. — Ты... ужасно... ты невероятно странный человек.

— Да понимаю, что с такими странностями мое место на свалке истории... — обнимая ее за плечи, рассмеялся Велешев. — Только вот беда — ноги меня туда чего-то никак не несут.

Велешеву хотелось показать Валерии Овражную Заводь, и однажды они отправились туда перед вечером. Однако в это время все здесь было совсем по-иному, чем в то утро, когда он заснул под сосной незаметно для себя. На травяном ковре пологого склона горы стояло у берез несколько машин, бросавшихся в глаза разностью яркой окраски, мелькали там, у воды, женские и мужские тела, едва прикрытые купальниками и плавками, а с реки разносились далеко вокруг всплески, крики, взвизгивания. И конечно же гулко бухало, словно вбивало во все сущее невидимые сваи, нечто, именуемое музыкой.

— Еще не разъехались... — несколько помрачнел Велешев. — Хотелось показать тебе тут все хотя бы в относительном безлюдье, в тишине...

— Да ничего страшного, — приободрилась в отличие от него Валерия. — Ты только глянь, как там, внизу, весело!

Они постояли на вершине раздела, откуда была видна поблескивающая темной водой таинственно-диковая глубина оврага, и, взглядевшись в нее, Валерия зябко передернула плечами:

— Бр-р... Жуть какая-то первобытная.

Она повернулась туда, где сверкали под солнцем автомобили и пестрели купальники, широко раскинула руки:

— Ух, здорово! Какой невероятный контраст! Скорей пойдем тоже купаться! Я хочу пройтись по этому лугу босиком.

— Обязательно пройдишь, — одобрил Велешев, — и непременно искупайся. А я тебя тут подожду.

— Почему?..

— Плавки забыл да и, признаться, люблю сидеть здесь, на высоте.

— Ой, жалко, что забыл плавки...

— Иди, пока солнце за сосны не ушло.

Она быстро сняла свои мягкие туфельки и, держа их в руках, осторожно пошла босиком вниз по зеленому склону, а потом вдруг, словно девчонка, побежала вприпрыжку.

— Ноги побереги! — улыбаясь, крикнул Велешев. — В траве могут быть сухие сосновые шишки!

Но Валерия или не расслышала, или в радостном порыве уже не могла остановиться. Продолжая улыбаться, он покачал головой и направился к своей любимой сосне, сел, привалившись спиной к ее могучему стволу.

Напористый ветерок налетел на вершины сосен, и шум их то угасал, то вновь усиливался. У древних сосен особый голос — густой, теплый, успокаивающий голос вечности. И выразителен он еще и тем, что в него родственно влетаются другие природные звуки — бодрое дзиньканье, щебет и посвист синиц, старательные трели зябликов, неожиданно резкий стук дятла где-то в стороне, отдаленное гортанное карканье черного ворона. “Как же все-таки удивительно это звучание природы, — думал Велешев. — Сосна, береза, осина — каждое дерево имеет свой голос точно так же, как и каждая птица. У леса своя мелодия, у поля — своя, по-своему поет река, по-своему поет небо. И каждый звук, творимый природой, преисполнен значения — словно связанная родством с человеческой душой таинственная сила хочет передать ей нечто очень важное, необходимое, словно чему-то ненавязчиво учит душу, предупреждает о чем-то, вдохновляет на что-то высокое, доброе. А шум, который исходит от людей? — сколько же в нем пустого и самодо-

вольного, вызывающего и назойливого... Вон — плещутся, визжат, орут, тешатся грохотом, который называют музыкой, и слышат одних только себя. В городах людям уже мало обычного уличного, промышленного шума, они во все большее упоение приходят от крикливых действ и громоподобных зрелищ, и здесь почему-то им хочется заглушить вокруг себя все живое, выгеснить божественную мелодию природы. Слава Богу, что хотя бы в отдалении от них она вот пока еще звучит...”

Велешев перевел взгляд с неба на землю и неподалеку от себя увидел вдруг цветок — совсем маленький, одинокий, этакий, вроде гвоздички, с изящными розоватыми лепестками, на которых едва примечались белые крапинки.

— Ты как здесь? — покачав головой, удивился вслух Велешев. — Надо же — какой героический...

Он лег, приблизив лицо к цветку, и рассматривал его, поражаясь совершенству невзрачного на первый взгляд растеньица. “Вот, — подумалось, — о ком надо в первую очередь вспоминать, когда жизнь начинает тебе казаться мелкой, несправедливой и сам ты становишься ворчливым, нетерпеливым. Не “о чем”, а именно “о ком”, потому что этот маленький цветок — удивительная личность. Сколько же всего довелось ему вынести, прежде чем раскрылись его лепестки... Совсем рядом проезжают, распростирая вокруг вонючую гарь, спускаются к реке машины. Нередко оставляют их и здесь, возле сосен, постоянно топчутся тут люди. И когда это слабенькое растение набирало бутон, то, наверное, не раз приминала его человеческая нога, а оно опять выпрямлялось. А грозовые ливни с градом, всякая иная непогода — от них сколько пришлось ему натерпеться... Но растеньице вытерпело все и продолжало одиноко и самоотверженно зреть, чтобы явить миру маленькую прекрасную тайну. И цветок наконец раскрылся, обратил свои крошечные лепестки, свою сердцевинку к небу, словно бы с радостью говоря Господу Богу: “Ну вот — я все-таки сумел выполнить Твою волю”. Да, у этой неприметной для многих, но удивительной личности стоит поучиться главному, что делает достойным существование в нашем суровом и зачастую неблагоприятном мире...”

Отдыхающие постепенно разъезжались от реки — машины одна за другой с натужным ревом одолевали подъем. Появилась наконец Валерия — довольная, сияющая.

— Ух, — раскинула она руки, — и здорово же там было купаться! Так весело, такой великолепный песок... А ты, наверно, умирал тут от скуки?

— Осторожно, — остановил он ее жестом. — Глянь, кто тут рядом со мной.

Валерия увидела цветок и пораженно выставила перед собой ладони с растопыренными пальцами. Потом опустила на корточки, стала разглядывать его.

— Такой маленький, хорошенький, и совсем один. Жалко оставлять его тут одного. Давай сорвем, разыщем какую-нибудь посудинку...

— Не надо, — сказал Велешев. — Ему здесь хорошо. Здесь он смотрит на небо, а небо смотрит на него.

— Тогда скажи, где мне тут лучше спрятаться, чтобы снять купальник и надеть все сухое.

— Да зайди вон за сосну у склона — никто тебя там не увидит.

У реки вскоре не осталось никого, и воцарилась вокруг та благодатная вечерняя тишина, когда кажется, что все сущее задумалось в приятной усталости. Велешев с Валерией сидели под вековой сосной, прильнув спинами к ее теплой коре и, замороженные этой благодатью, некоторое время молчали. Меж стволов берез, стоящих у воды, горело зарево — это отражалось в реке у противоположного крутого берега уходящее за сосны солнце.

— Хорошо, что ты привел меня сюда, — сказала Валерия. И, сложив пальцы клеточкой, она зажмурила один глаз, а другим стала смотреть на отражающийся в реке закат через клеточку.

— Ты чего это? — удивленно глянул на нее Велешев.

— Да прикидываю, как оно тут смотрелось бы через объектив.

Глава двадцатая

Обратно шли берегом реки, а потом по прибрежной улице поселка, на которой жила Анна Тимофеевна.

— Может, зайдём к ней на минутку? — сказала Валерия. — Справимся — как она.

— Давай зайдём, — кивнул Велешев. — Только вот... Надо бы хоть сердце у нее выслушать и давление померить, а у меня нет с собой ничего.

— Заглянем пока просто так.

Старушка обрадовалась их приходу, растроганно обняла и расцеловала обоих.

— Знала... — засуетилась она, водружая на плиту чайник. — Чувствовала, что рано или поздно заявитесь вместе.

Велешев с Валерией принялись убеждать ее, что не надо никаких хлопот, что зашли всего лишь справиться о здоровье, но уговоры были бесполезны — Анна Тимофеевна вдохновенно продолжала собирать на стол угощение.

— Что это за “всего лишь”? — радостно ворчала она. — Я тут о них думаю день и ночь, а они — “всего лишь”... О моем здоровье нечего беспокоиться — после того как ты, Павел Андреевич, меня подремонтировал, чувствую себя вполне нормально, всегда бы так. А вот как ваше здоровье — это мне очень даже интересно...

— Дайте хоть пульс-то у вас посчитаю для очистки совести, — смущенно попросил Велешев.

— Ты уж лучше бы свой пульс посчитал, — махнув рукой, улыбнулась Анна Тимофеевна. — Сдается мне, что в последнее время он у тебя сильно учащенный.

— Мне, Анна Тимофеевна, — сказала Валерия, — поначалу казалось, что пульс у доктора Велешева никогда не учащается, что это свойственно только нам, больным да увечным.

— Э-э, Лерочка... — лукаво глянув на нее, поводила перед собой пальцем бывшая учительница. — Мало ли что нам кажется поначалу. Каждый вулкан дремлет до поры до времени.

— Вот на этом лучше бы и прекратить обсуждение вулканической деятельности, — посоветовал Велешев. — Иначе мы, вполне приличные люди, рискуем зайти слишком далеко.

— В самом деле... — растерянно замерла Анна Тимофеевна. — Эх меня старую куда понесло...

И, переглянувшись, рассмеялись все трое.

Перед тем, как усесться за чаешитие, Велешев все-таки проверил у Анны Тимофеевны пульс, подробно расспросил ее о том, как ведет себя сердце, и вроде бы остался доволен.

Потом пили чай с земляничным вареньем, благодушно перешучивались по разным отвлеченным поводам. Но, наконец, Анна Тимофеевна решительно отодвинула свою чашку, прихлопнула обеими ладонями по столу и, взыскательно глянув на гостей, сказала:

— Ну, братцы мои, так негоже. Все село судачит о том, что наш доктор женился, а я сижу рядом с вами и ничего путного на сей счет услышать от вас пока не удостоилась.

Валерия, склонив голову на бочок, стала сосредоточенно обводить пальцем узоры скатерти, и Велешев, помолчав немного и шумно вздохнув, ответил:

— Да мы, Анна Тимофеевна, на сей счет пока еще даже как-то и не думали.

— Ой! — смутившись, приложила она ладони к щекам. — Простите уж Христа ради. Похоже, я опять через край вылезла. Ради Бога не считите, что из любопытства. Просто... тебя, Паша, я давно считаю своим родным, а значит, и ты, Лера, тоже... И... прямо скажу: не на шутку меня заботит, как оно у вас все сложится. По-матерински-то вот и вылезла...

— Не ругайте себя, — тепло улыбнулась ей Валерия. — Мы понимаем. А что касается слухов, то они, как всегда, опережают события. Мы пока еще... ну... как бы прилаживаемся друг к другу.

— Приладиться друг к другу — это, конечно, основное... — вздохнула Анна Тимофеевна. — Дай-то вам Бог побороть все сложности. Тут, мои дорогие, от вас обоих немало мудрости да бережности потребуется. А скрепить все по-настоящему можно только большой верностью. Надоело уж, небось, глядеть-то, как нынче властвует взаимное предательство. Иной раз кажется, что люди совсем лишились верности и не замечают ее отсутствия.

— Что ж поделаешь... — невесело усмехнулся Велешев. — Такая эпоха. Приходится жить в эпоху развитого эгоизма. Наверное, все мы сейчас больны — у каждого своя боль.

— У каждого своя боль, — как эхо повторила Валерия. — И каждому хочется исцеления.

— Да нет, не каждому, — покачала головой Анна Тимофеевна. — Многим такая болезнь очень даже нравится. А если говорить о лечении, то, пожалуй, только верностью-то и можно исцелиться. Верностью и духовным достоинством.

— Господи... — сокрушенно вздохнув, сжала голову ладонями Валерия. — Как подумаешь, сколько натворила в жизни глупостей...

И Велешев, и Анна Тимофеевна несколько мгновений смотрели на нее с немым удивлением, потом бывшая учительница протянула руку и ласково погладила Валерию по плечу:

— Милая ты моя, да если человек не совершает глупостей, то вряд ли он когда-нибудь станет умным. Случается, правда, и так, что ни одна, ни другая допущенная глупость ничему человека не учат. Вот тогда-то уж беда. Тогда он может пасть очень низко, и, кроме самого себя, винить ему в своем падении некого. Остается лишь уповать на сочувствие тех, кто сумел подняться над собственной глупостью.

— Что касается падения, — вскинула голову Валерия, — то думаю, что таковое мне не грозит. Всегда чувствую предел и решительно исправляю положение. И в самом деле — глядишь, вроде бы чему-то и научилась на собственной глупости. Но я уже устала от этих своих пределов. Потому что за одной оплошностью следует другая. Оплошность, глупость — это ведь одно и то же. И сколько же можно учиться? Кстати, мы с тобой, Павел Андреевич, вроде бы уже затрагивали эту тему.

— Я тогда сказал, — напомнил Велешев, — что этого можно избежать, если научишься видеть и понимать самого себя. Если сумеешь нащупать сердцем свое самое святое.

— Уж не хочешь ли к тому же еще сказать, что ты нащупал здесь свое святое, а у меня там, где я живу, ничего святого нет? Обеспечить достойную жизнь себе и близким — разве это не святая обязанность человека? И обеспечить я ее стараюсь не какими-то там грязными махинациями, а честной и кропотливой работой, которая мне по душе.

Велешев хотел промолчать, но не смог.

— Материальный достаток, — сказал он, — и духовное достоинство, о котором Анна Тимофеевна упомянула как о средстве спасения в эпоху развитого эгоизма, это вещи... вернее, понятия, очень даже разные.

— Жить в материальном достатке, который достигается творческим подходом к любимому делу — разве это не достоинство?

— Достоинство, но вряд ли оно духовное. Ты ведь занимаешься рекламой. Ради Бога не обижайся, Валера, но, на мой взгляд, нынешнее рекламное нашествие как раз и напоминает если не грязную, то весьма-таки нечистоплотную массивованную махинацию.

— И он еще просит, чтобы я не обижалась! — всплеснула руками Валерия, и глаза ее запылали вишневым огнем. — Значит, по-твоему, реклама совсем не нужна? Да что такое без рекламы любое современное производство? Разве можно обойтись без нее в современном мире?

— Думаю, что можно было бы обойтись и без нее, если бы каждый, так же, как и ты, честно и кропотливо выполнял работу, которая ему по душе. Расхваливать и превозносить до небес что бы то ни было не имело бы тогда ни малейшего смысла. И тебе, к сожалению, пришлось бы полюбить какое-нибудь другое дело.

— Да ты... — постукала Валерия пальцем себе по лбу. — Неужели непонятно, что реклама сегодня — это все? Даже если любая продукция будет отличного качества, то надо же как-то ориентировать человека. Ведь каждый человек прежде всего потребитель, покупатель, и ему необходимо...

— Каждый человек — это прежде всего человек. И лучше бы ему с детства учиться ориентироваться самому.

— Ну-у, Павел Андреевич... — решила вмешаться хозяйка дома. — Ты у нас сегодня что-то не на шутку закусил удила. Такой лихой галоп, чего доброго, еще занесет в какую-нибудь глухую сторону.

И Велешев, и Валерия, потупившись, замолчали.

— А ты, Лера, — продолжала Анна Тимофеевна, — хотела ведь поделиться с нами чем-то своим душевным, похоже, какой-то своей тягостью...

— Хотела... — Валерия поставила локти на край стола и уткнула подбородок в ладони. — Подумалось, что, кроме вас, пожалуй, и поделиться-то не с кем. Я уже сказала: иногда мне тошно от самой себя, от собственной глупости.

— Да уж какая такая глупость-то? — с ласковым прищуром смотрела на нее Анна Тимофеевна. — Все вроде при тебе, и ум на месте. Если только от задора души засакаиваешь куда-нибудь не совсем туда.

— Хм... — качнув головой, усмехнулась Валерия. — От задора души... Возможно, так оно и есть. Мне всегда всего мало, всегда хочется чего-то большего. Поднялась на ступень — осмотрелась, порадовалась, а через некоторое время становится как-то скучновато и тянет еще выше. И поначалу все шло нормально — одна ступень, другая... А потом пошли срывы — один, другой, третий...

— Это почему же?

— Да потому, что началась эпоха развитого эгоизма. Такое определение ты, Павел Андреевич, пожалуй, абсолютно точно подобрал. А я... Я как-то не включилась, что ли, в этот процесс... Продолжала шествовать по жизни с открытой душой, одолевая свои ступени с поднятым забралом. Да и забрала-то никакого не было. А в это время менялось все с неуловимой быстротой. Старых друзей, подруг невозможно стало узнать. Раньше они от души радовались моим успехам, а теперь их словно бес обуял: почему это ей, то есть мне, все так легко удается? И... пошло-поехало. То развоняют о тебе на всю ивановскую Бог весть что, то спокойноенько подставят тебя под удар... Будто бы выгоду какую-то видят в том, чтобы мне хоть немного, да стало хуже. А при встречах, как всегда, с поцелуями, с распростертыми объятиями. И я целуюсь, обнимаюсь с ними — все никак не могу перестроиться. И в результате опять нарываюсь на предательство, потом опять... Узнаю, что давно пора “поднять щетину”, а она у меня никак не поднимается. Ну разве это не глупость — без конца подставлять себя, напрашиваться на оплеуху?

— Да стоит ли уж так стремиться-то перестраивать себя под нынешнюю эпоху? — сказал Велешев. — По мне, так она и есть самая настоящая глупость. А лицемеры, завистники и недоброжелатели всегда мельтешат вокруг любого человека, который честно, с пользой и успехом делает свое дело. Одни явно брызжут желчью, другие тайно пытаются выпрыснуть хотя бы толику своего яда. И главное — спокойно устоять перед их ядом и желчью — не сводить ни с кем счеты, молча идти вперед. Если сорвешься, не устоишь, то уподобишься им. А они, между прочим, только этого и ждут.

— Ты, значит, считаешь, — стрельнула взглядом в его сторону Валерия, — что защищать себя совсем не надо? По-твоему, пусть подножки ставят одну за другой, пусть мешают с грязью сколько угодно?

— Но ты же сказала, что падение тебе не грозит, что всегда чувствуешь предел.

— Я еще к тому же сказала, что устала от этих пределов.

— Унывать стала, — подала голос Анна Тимофеевна. — Это по тебе заметно. А ты, Лерушка, старайся не унывать. Уныние душу не излечивает, а беду кличет. Если не имеешь ни к кому ненависти и не теряешь потребности в любви, то разве так уж важно, что кто-то ненавидит или недолюбливает тебя? Считаю это улетающим дымом — ведь такие люди сжигают в пер-

вую очередь самих себя. Павел прав — не смотри на них. Смотри лучше на тех, кто любит тебя, а то ведь вполне возможно, что этих-то ты как раз и не замечаешь.

— Возможно, так оно и есть... — вздохнула Валерия. — Я теперь толком и разобраться-то не могу, кто с любовью ко мне, а кто с ненавистью. И... говорила уже Павлу, что вечно меня, словно ветром, несет против воли к каким-то сомнительным личностям.

— Да зачем они тебе? — с наивным сочувствием допытывалась Анна Тимофеевна. — На земле пока еще имеются и приятные личности.

— При моей работе зачастую просто нет времени искать приятную личность. Чтобы добиться успеха, иногда кидаешься к тем, у кого морда ящерицы, а в душе сидит бес в бронжилете.

— Ну-у, какой же тут может быть успех... — покачала головой старушка. — И за какими это успехами ты все кидаешься-то? Рассказывала, что живете вы с сыном хорошо, вполне обеспеченно. Чего же еще-то не хватает?

— Я уже говорила, что мне постоянно чего-то не хватает. Может, это моя беда, но... так уж, наверно, я устроена. Тащиться по жизни кое-как, даже идти стремительно — такое меня не устраивает. Мне хочется лететь по жизни, что ж тут поделаешь...

“И попутно залететь на дерево в полной уверенности, что там растет лечебная чага,” — автоматически подумалось Велешеву. — По-моему, не только мне, — продолжала Валерия, — сегодня всем постоянно чего-то не хватает. Но я ни у кого ничего не отнимаю, живу напряженным творческим трудом, а у меня без конца стараются что-нибудь выхватить из-под носа. Порой и от себя самой, и от всех этих проглотов бывает настолько тошно...

— Дорогая ты моя... — Анна Тимофеевна встала и, подойдя к Валерии, ласково прижала ее голову к своей груди, погладила по волосам. — Стоит ли так горячо устремлять себя к тому, чего тебе не хватает? Свою любовь и надежду лучше сосредоточить на том, что тебе дано. Ведь за всем не утонишься. Кто хочет угнаться за всем, тот все потеряет. А страдаешь — это же к большой пользе.

— Анна Тимофеевна! — удивленно вскинула глаза Валерия. — Помилуйте, что вы говорите? Какая от страдания может быть польза?

— Самая настоящая. Довольство во всем, особенно материальный достаток, может ослабить человека настолько, что он станет слабее самого себя. А несчастье, скорбь, страдание помогают человеку становиться сильнее. Ты вот жаловалась: люди, мол, сделались завистливыми, жадными, недобрыми. Да и сообщая мы тут горевали о том, что плохая нынче эпоха, что у каждого какая-то боль. А ведь отчего вся эта болезнь? От того, что людям сейчас не хватает главного — духовного смысла. И без такого смысла жизнь становится с каждым днем все опаснее.

Анна Тимофеевна вернулась на свое место, и некоторое время сидели все молча, не глядя друг на друга.

— Что тут добавишь... — вздохнул Велешев. — Хоть мне и приходится по большей части заниматься совсем другими болезнями, но тем не менее чувствую, что диагноз вы, Анна Тимофеевна, поставили абсолютно точный.

— Я уже в который раз слышу, — заговорила Валерия, сосредоточенно глядя в одну точку перед собой, — о духовном достоинстве, о духовном смысле, о том, что это — главное. Тогда позвольте узнать: в чем же, по-вашему, оно заключается, это главное?

— Да, наверное, в том, — ответила Анна Тимофеевна, — чтобы научиться быть счастливым в доброте и быть добрым в несчастье. Ну и, конечно... помнить сердцем, что небо видит все.

— Хм... — озадаченно качнула головой Валерия. — Небо видит все...

— Видит, Лера. Все радости наши видит и все страдания. А от страданий никому не уйти. И самое лучшее — это не бояться их. Я вот жила-жила, да и подумалась потихоньку, что в них, наверно, заключен какой-то высший смысл, что надо страдать достойно и одухотворенно. Может, это вам и странно, и смешно, а я давно уж себе сказала: если хочешь, чтобы в твоём сердце светилося счастье жизни, — научись обретать пользу от своих потерь.

— Милая Анна Тимофеевна! — порывисто вскочила, обняла ее Валерия. — Какая же вы интересная, как хорошо с вами рядом...

— Да уж, хороша хозяйка... — растроганно засмушалась та. — Совсем закормила вас своими советами да заветами. Господи, у меня же ведь еще и черничное варенье есть. Заварим свеженького чайку...

— Нет, Анна Тимофеевна, — поднялся Велешев. — Как ваш лечащий врач вынужден заявить, что мы вас и без того уже утомили сверх меры.

— Павел, дорогой, да какое же тут утомление?..

— Но ведь я хорошо знаю ваше сердце. И вы обещали слушаться.

— Ну еще хоть несколько минуток посидите. Неужто не понимаете, как переживаю за вас?

— Не переживайте вы ради Бога, — опускаясь на стул, просительно улыбнулся Велешев. — У нас все в порядке.

— Да вижу, что сейчас-то в порядке.

— Мы ведь уже не маленькие, — сказала Валерия.

— В том-то все и дело, что не маленькие. У каждого свое прошлое лежит в душе грузом, у каждого свой нажитой характер. С первого взгляда видно, насколько вы разные во всем, к тому же ты, Павел, прикипел здесь, а ты, Валерия Сергеевна, кишишь там, у себя. Мне радостно, что вам повезло найти друг друга, но в то же время чувствую сердцем, что немало выпадет на вашу долю всяческих сложностей. Небошь, думаете: ну вот, мол, взялась каркать старая ворона. Да нет, милые вы мои, просто по-матерински... как-нибудь... хоть немного... остеречь хочется. Вы ведь сироты оба — кто вас еще остережет? И что тут сказать? Может, опять вылезаете через край, но все-таки скажу. Коль уж такое дело, то дай вам Бог веры друг в друга и верности друг другу. Тысячу раз убеждалась, что вера и верность всегда окупаются, а человек, отрекшийся или предавший даже, и не подозревает, на какую бедность и пытку обрек самого себя.

И Велешев, и Валерия молчали — у них не нашлось что сказать на это.

И потом, когда распрощались с Анной Тимофеевной, некоторое время шли по улице молча. Первой заговорила Валерия.

— Удивительно... — сказала она. — Простая сельская учительница, преподавала всего лишь в младших классах, а какой-то совершенно необычный интеллект...

— Она мудрая от природы. К тому же всю жизнь читала и до сих пор читает только хорошие книги.

— И лицо у нее необыкновенное — столько в нем радостного доброго света...

— У людей, которые много страдали, всегда хорошие, добрые черты лица.

— Она много страдала?

— Много... — вздохнул Велешев. — Муж Анны Тимофеевны вернулся с войны израненный, а через некоторое время его арестовали по какому-то подлому доносу. Осудили на десять лет, и получила она от него лишь одну весточку — с кем-то сумел передать с пересылки. А потом — ни слуху ни духу. Куда она только ни обращалась, куда только ни писала... Отвечали одно и то же: “не значится”, “не числится”. Когда начались реабилитации, Анна Тимофеевна прошла по всем инстанциям и все-таки сумела найти концы. Выяснилось, что муж умер в лагере в Хабаровском крае. Потом она долго добивалась реабилитации, а когда мужа реабилитировали, понемногу скопила денег и поехала туда, в Хабаровский край. Там ей каким-то образом удалось разыскать человека, который служил в охране того лагеря, и — можешь себе представить? — он вспомнил мужа Анны Тимофеевны, сказал, что уважал его, и даже показал ей место, где тот был погребен. И она привезла от туда землю, захоронила ее на нашем пореченском кладбище. Сделала все, как положено, — у ее мужа теперь настоящая могила, с памятником и оградой. И ходит она к ней каждую неделю.

— Боже мой, какая потрясающая история...

— Это еще не все. Перед тем, как мужа Анны Тимофеевны арестовали, у них родился сын. Хорошо помню его по школьным годам. Я учился в ше-

стом, наверное, классе, а Олег в это время заканчивал школу. Высокий, красивый был парень. Он потом стал офицером, воевал в Афганистане и пропал там без вести. И Анна Тимофеевна до сих пор верит, что Олег жив. Не раз встречалась с его боевыми друзьями, переписывается с различными организациями, которые разыскивают таких пропавших. Верит, что Олег отыщется, этим и живет.

— Надо же... — остановившись, покачала головой Валерия. — Столько мы с ней о всяком-разном переговорили, а о муже и сыне слышу только вот от тебя...

— Об этом она мало с кем говорит.

— Так у нее, значит, совсем никого нет?

— Она так не считает.

Когда проходили мимо больницы, Валерия предложила:

— Давай посидим немного под березами.

Они уселись на скамейку и смотрели на воду, не произнося ни слова. Ветви берез свисали над ними в полной неподвижности. Сгущалась вечерняя темнота, но река все еще отливала каким-то потаенным волнующим светом.

— Доктор, — повернулась к нему Валерия, — ты смог бы опять жить и работать в городе?

— Нет, — посмотрел он ей в глаза ясным спокойным взглядом. — Я врос тут во все, и все тут вросло в меня.

— Ну и как же нам теперь быть? Давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Он вдруг рассмеялся коротким беззвучным смехом:

— Это ведь надо же... У Чехова в “Даме с собачкой” есть точно такая же фраза. В самом конце. Только произносит ее, кажется, он, а не она.

— Там они оба несвободны. А мы с тобой вполне свободные люди.

— Хм... Не думаю, что мы так уж свободны. Ты смогла бы переехать сюда ко мне?

— Ну ты же знаешь...

— Знаю. Поэтому не надо ничего придумывать. То, что мы сидим сейчас вместе, придумано не нами. А от нас, наверное, требуется только одно — не потерять друг друга.

— Да, это главное, — прижалась Валерия щекой к его плечу. — Я не хочу тебя терять.

Глава двадцать первая

Шел август, в кронах берез кое-где уже намечались желтые пряди, и жара угадала. После непродолжительных, но шумных и по большей части ночных дождей стояли ясные дни с приятной ветреной прохладой и грудями белых облаков, толпящихся в притуманенной, словно бы полинявшей, синеве неба.

Валерии надо было ехать — телефонные звонки из рекламного агентства тревожили ее все чаще. Отъезд она наметила на воскресенье, а до него оставалось два дня.

— Ох, как не хочется уезжать... — опустив руки, вздохнула она. — А знаешь... Давай встряхнемся, устроим какой-нибудь отвальный сабантуйчик.

— Отвальный?..

— Ну да, я же отваливаю. Организуем по этому поводу конкретную пирушку.

— Давай организуем. Только вот насчет конкретики... Как ты себе это мыслишь?

— Да очень просто. В субботу за мной приедет Лёнька. И еще хотелось бы... Давай пригласим Аркадия Фадеевича.

— С радостью. Сам по нему соскучился.

— И еще этого, ну... того эскулапа, который приписал меня к десантным войскам и уверял, что я его достать нигде не сумею.

— Кутенцова? Хм, можно и его пригласить. Я тебя понимаю. И думаю,

что этот парадоксальный выдумщик нам отнюдь не помешает. Только бы не был занят на дежурстве.

Когда Велешев позвонил Отроченкову, тот не заставил упрашивать себя — откровенно рад был приглашению.

— Молодец, Паша, — похвалил он серьезным тоном. — Не просто объявился, а еще и в гости приглашаешь. А то уж стало думаться, что больше и не вынырнешь — настолько глубоко булькнул в свои сердечные дела.

— Обижает, Фадеич.

— Не обижайся. А как насчет шашлыка?

— Шашлык будет гвоздем программы — традицию нарушать негоже. Так что готовься к выполнению своей священной миссии.

— Все будет зависеть от того, как ты исполнишь свою — хорошее мясо необходимо отлично замариновать. А транспортом обеспечишь?

— Володю за вами пошлю.

— Почему “за вами”? По гостям шляться я пока предпочитаю один.

— Да видишь ли... Валерия Сергеевна выразила желание, чтобы к нам прибыл еще и Кутенцов.

— Отлично. Посмотрим, как она с ним расправится.

Кутенцов был удивлен приглашением и даже растерялся.

— Я... искренне... — бормотал он, — я душевно польщен, Павел Андреевич. В субботу работаю, но во второй половине дня обязательно вырвусь. Буду рваться к вам сквозь все препоны. А можно узнать, что за повод? У вас какое-нибудь знаменательное событие?

— Никаких особых событий, Миша. Просто отдохнем, посидим за шашлычком.

— Даже шашлычок... У вас еще кто-нибудь будет?

— Будет Отроченков, еще кое-кто. Расслабимся, поболтаем — неужто нам не положено?

— Очень даже положено, Павел Андреевич. А если с Фадеичем-то — это уж прямо-таки за милую душу...

О пациентке, “упавшей с небес”, Кутенцов ничего не спросил — возможно, уже и забыл о ней. И Велешев не обмолвился о Валерии ни единым словом.

Лёнька прикатил в субботу после полудня. Он был уведомлен матерью об “отвальном сабантуйчике” и, по ее словам, вполне одобрял такое мероприятие. Велешевский дом ему удалось разыскать без особых сложностей, и встреча, которую хозяин дома ожидал с некоторым душевным напряжением, была такой непринужденной и теплой, будто с ними, троими, это происходило уже не в первый раз.

— Ну, партизаны, — доставая из машины сумку с гостинцами, сказал Лёнька, — показывайте, как вы тут окопались.

Он окинул пристальным взглядом двор, а войдя в дом, сбросил кроссовки и, попросив разрешения, прошелся по комнатам, присмотрелся ко всему. Валерия и Велешев переглянулись, она недоуменно пожала плечами.

— Надо же... — выходя к ним на кухню, развел руками Лёнька. — Когда ехал, то старался представить себе, как тут у вас. И хотите — верьте, хотите — нет, а картина абсолютно идентична той, которую я рисовал в своем воображении. Просто невероятно. Даже сарай точно такой же — дырявый и покосившийся.

— Сарай настолько сильно вопиет о своем бедственном положении, — усмехнулся Велешев, — что сумел, наверное, проникнуть в твое сознание раньше, чем ты его увидел.

— Да и в доме, по-моему, многое вопиет, — сказала Валерия. — Так что не удивляйся, ясновидец ты мой.

— Ясновидец — не ясновидец... — озадаченно качал головой Лёнька, — но увидеть в воображении то, чего никогда не видел, — это стопудовое дело... Наваждение, что ли, какое?..

— Скорее всего, просто хорошая примета, Лёня, — похлопал его по плечу Велешев.

— Похоже, что так, Павел Андреевич. Мне у вас очень нравится.

Подъехавших из райцентра гостей Велешев с Валерией встречали у ворот. Первым из машины вышел Кутенцов и, увидев “небесную пациентку”, остолбенел. Несколько мгновений он стоял, пытаясь что-то сообразить, а потом с паническим видом полез обратно в машину.

— Вернись, эскулап, — сказала Валерия. — Я все прощу.

— Вернись, тебе говорят! — бесцеремонно вытолкнул его Отроченков. — Имей мужество спокойно предстать перед судом.

Кутенцов, сменив панический вид на покорный, подошел к Валерии, осторожно опустил на землю полиэтиленовую сумку, в которой что-то звякнуло, и молча поднял руки вверх.

— Вот так-то лучше, — глядя ему в глаза и пытаясь не улыбнуться, резюмировала она. — В качестве пленного вы мне нравитесь гораздо больше.

— Простите, не знал, что возможности женского батальона воздушных десантников...

— Наши возможности безграничны. Теперь вы на собственном опыте убедились, что можем достать кого угодно, когда угодно и где угодно.

— Полностью убежден. Других доказательств мне не надо. Более того — восхищен: и вашими способностями столь быстро восстанавливаться после неудачных приземлений, и вашими методами заманивания врача в ловушку. Кстати, мне даже кажется, что выглядите вы значительно эффективнее, чем до падения с небес.

— А разве вы меня видели до падения?

— Это предположение.

— Что ж, такое предположение, хоть и отдает беззастенчивой лестью, но все-таки приятно. Опустите руки и давайте знакомиться. Меня зовут Валерией Сергеевной. Можно просто — Лера.

— А я Михаил Борисович. Можно просто — Миша. Ручку вашу позволите поцеловать?

— Да ладно уж, целуйте. Только не надейтесь сразу же освободиться от статуса пленного.

— Поверьте: я хочу это сделать не из шкурных интересов, а из чистейшего восхищения.

И Кутенцов церемонно поцеловал ей руку.

— Ты только глянь... — пораженно воззрился на Велешева Отроченков. — Как же ловко он выкрутился...

С Аркадием Фадеевичем Валерия расцеловалась как со старым знакомым.

— Вижу, голубушка, — погладив ее по плечу, сказал он, — невооруженным глазом видно, что мои предписания пошли на пользу.

— Я вам очень благодарна, Аркадий Фадеевич.

Знакомство гостей с сыном Валерии тоже прошло на теплой ноте, без малейшего напряжения.

— Ты коньяк пьешь? — спросил Отроченков Лёньку, едва только тот назвал ему свое имя.

— И водку тоже, — искренне признался Лёнька. — Но времени на это не всегда хватает, и перебирать не люблю.

— Хм, у меня точно так же. Тогда давай обнимемся, потому что это уже солидарность и ее необходимо немедленно закрепить.

— Замetano, — решительно согласился Лёнька.

И они обнялись, хлопнули друг друга по спине.

Кутенцов представился Лёньке несколько более скромно.

— Меня обнимать нельзя, — сказал он. — Я имел несчастье завязать с вашей мамой конфликт на медицинской почве и теперь нахожусь тут в качестве пленного.

— Угораздило же вас... — пожимая ему руку, сожалеюще усмехнулся Лёнька. — Могу успокоить только тем, что к ее пленным я стараюсь относиться лояльно. И на “вы” меня называть не обязательно.

— Пусть пока называет на “вы”, — сказала Валерия. — А там видно будет.

— Вот так-то... — изобразил унылую ухмылку Кутенцов.

Хлопоты, предшествующие застолью, быстро связали всех единым сдержанно-восторженным духом, и шутливое общение на этой теплой волне доставляло истинное удовольствие. Стол решили накрыть во дворе, и общими усилиями он был сервирован весьма обильно. Оставалось только дожидаться шашлыка.

Отроченков сосредоточенно “колдовал” над дымящимся мангалом. Сначала к нему подошел Кутенцов — посоветовал сдвинуть шампуров туда, где угли были жарче. Потом сунулся Лёнька — выразил опасение, как бы шашлык не пересох. Фадеичу удалось отвергнуть эти притязания с истинно джентльменской выдержкой. Но вскоре с крыльца спустилась Валерия и, потянув носом воздух, от восторга сжала перед грудью кулачки и задробила ногтями:

— Ох, как вкусно пахнет! Аркадий Фадеевич, миленький, дайте попробовать кусочек!

И тут уж Отроченков не выдержал.

— Никаких кусочков! — взревел он. — Я делаю святое дело, я отвечаю за качество этого благословенного продукта, а вы тут все без конца мне мешаете! Ну-ка, марш отсюда! И никому не появляться, пока не будет готов!

Пораскрывав рты, опешили все, и Велешев приказал:

— Быстро в дом! Это я виноват — забыл предупредить, что сейчас он должен быть неприкасаем.

— Стоп! — рявкнул Фадеич. — Пленного оставьте. Дайте ему газету — пусть молча отгоняет от стола мух!

А потом Валерия, Велешев и Лёнька уже через стекла веранды потихоньку наблюдали, как Отроченков продолжает священнодействовать над мангалом, а Кутенцов, поглядывая на него с опаской, сидит возле стола с закусками и старательно машет газетой, преграждая мухам путь к тарелкам.

Травматолог принадлежал к тому типу людей, которых называют длинными. Он был худ, сутуловат, и лицо у него было длинное, и нос длинный, к тому же довольно сильно выдающийся вперед. Кутенцов обладал истинным добродушием, но очень любил представлять из себя как слишком злого, так и смиренного. Наверное, из него получился бы неплохой актер. Он вообще отличался поразительной непредсказуемостью, в связи с чем в среде районного медперсонала о нем ходили смехотворные легенды.

Во дворе откуда-то появился вдруг кот Федор — наверное, его привлек запах жареного мяса. Он уселся на некотором удалении от мангала и почтиительно уставился на Фадеича.

— Здравствуй, брат Федор, — не отрываясь от дела, сказал тот. — Вполне понимаю твой взгляд. Ты свободная личность, и тебе хочется мяса. Но ведь не суешься же с советами и просьбами — спокойно ждешь. То есть умеешь блюсти свое достоинство. А у некоторых и свободы ни на грош, ходят в статусе пленного, а еще лезут давать глупые советы...

Кутенцов дернулся было — хотел что-то ответить на это, но, однако же, сумел сдержаться. Сумрачно отвернувшись к столу, он еще усерднее замахал газетой.

— Достоинство и терпение, брат Федор, — продолжал Отроченков, — всегда вознаграждаются. А посему выделю я тебе потом самый лучший кусочек. А пленные — они что? На то они и пленные, чтобы хлебать какую-нибудь тухлую баланду...

На веранде все это было хорошо слышно, и Валерия, Велешев и Лёнька, боясь обнаружить себя, давились смехом, прыскали в ладони.

Наконец Отроченков сгреб шампуров в единый букет и возгласил:

— Готово, господа!

Быстро уселись все за стол, и только Кутенцов, продолжая демонстрировать смирение, стоял несколько поодаль с газетой наготове и высматривал мух.

— Валерия Сергеевна, — сказал Отроченков, — помилосердствуйте, голубушка. Давайте-ка лучше снимем с нашего мухолова статус пленного. Во-первых, ловить мух он все равно не умеет, а во-вторых — ведь уже невозможно без содрогания смотреть на эту жалкую личность.

— Свобода и равенство! — провозгласила Валерия. — За таким столом иначе быть не может. Но... — с нарочитой строгостью глядя на Кутенцова, вознесла она указательный палец, чтобы помнили...

— Век не забуду, Валерия Сергеевна, — сказал травматолог, устраиваясь за столом понадежнее.

Начать Велешев предложил с французского коньяка — того самого, который несколько недель назад всучил ему в больнице Лёнька.

— Неужели тот самый? — удивился парень.

— Он, Лёня. Мы ведь договорились тогда, что разопьем его вместе.

— Это надо же... Сохранить непочатым даже при моей родительнице...

— Да уж, — сказала родительница, — если бы я знала, что в доме имеется французский коньяк, то вряд ли ему удалось бы сохраниться непочатым.

— Ну что ж, господа... — поднимаясь с рюмкой в руке, шумно вздохнул Отроченков. — По поводу первого тоста раздумывать долго нечего. Наш священный долг — выпить за прекрасную женщину, которая объединила нас за этим столом. За вас, несравненная Валерия Сергеевна, за ваше драгоценное здоровье, за ваше счастье.

Мужчины встали и, бурно выразив солидарность с этим тостом, звякнув своими рюмками о рюмку Валерии, выпили стоя. Глаза ее влажно сияли благодарностью, на щеках проступил матовый румянец, и вся она словно бы светилась изнутри.

Шашлык удался на славу и был удостоен всеобщего восхищения.

— Не зря, значит, я вытерпел столько унижений, — кромсая зубами мясо, пробормотал травматолог.

— Терпение — это путь к победе, Миша, — отозвался Отроченков.

— Воистину, Фадеич.

Кот Федор с самого начала устроился на скамейке рядом с Фадеичем, и тот выполнил свое обещание — дал ему кусок шашлыка, который заранее отложил, чтобы мясо поскорее остыло. Федор принял угощение из его рук с утробным стоном благодарности и прыгнул пировать на землю.

— Ты, Фадеич, прямо-таки породнился с этим хитрым отщепенцем, — усмехнулся Велешев.

— И тебе советую. Зря ты его недооцениваешь. Вряд ли стоит считать себя умнее кота или собаки, которые живут рядом с тобой. Возможно, они знают о своем хозяине такое, о чем он и сам не подозревает.

— Хм... Вообще-то, если разобраться, то, пожалуй, и в самом деле лучше Федора меня никто не знает.

— И можешь быть спокоен — не проболтается никому. А тебе все невдомек, насколько это ценная личность.

Когда было отдано должное закуским, и Велешев наполнил рюмки вторично, Валерия взяла свою рюмку и встала.

— Братцы мои, — сказал она, — а теперь я хочу выпить за вас. Огромное спасибо за теплые слова в мой адрес, но думаю, что все-таки благодаря вам, а не мне, сидим мы сегодня вместе. Благодаря всем вам и каждому в отдельности. Не представляю, что было бы со мной, если бы доктор Велешев не оказался рядом, когда я упала с дерева. И разве я попала бы в больницу к доктору Велешеву, если бы вы, Аркадий Фадеевич, не проявили такую удивительную чуткость?

— Ну, все... — вжимая голову в плечи, пробурчал Кутенцов. — Сейчас моя очередь.

— А вы, Миша, сами того не ведая, только подтолкнули, усилили мое решение ехать лечиться к Павлу Андреевичу. Если бы не вы, то я бы, пожалуй, и сдалась. Чтобы принять твердое решение, мне обязательно надо, чтобы кто-нибудь был против. И потом... Как самоотверженно несли вы меня на носилках к машине... Даже чуть не упали. Нет, вам я тоже очень благодарна.

— Батюшки... — раскрыв рот, смотрел на нее во все глаза Кутенцов. — Вот уж не ожидал... Обычно я применял свое намеренное хамство в надежде только на обезболивание пациента. А тут еще и благодарность. Первый такой случай в моей практике.

— Ты хоть сейчас-то не применяй свое намеренное хамство, — сказал Отроченков. — Не перебивай женщину.

— Молчу... — заслонил Кутенцов рот обеими руками.

— И ты, Лёнька... — продолжала Валерия, обращаясь к сыну. — Дай я тебя поцелую в маковку, — она обняла его и чмокнула в затылок. — Твоя надежность, обстоятельность, твое понимание мне очень помогают. Ты у меня настоящий.

— Да брось ты, мать... — смутился Лёнька. — Давай уж как-нибудь без всяких этих...

— В общем, я хочу сказать, что все вы настоящие мужчины, истинные мужики. И я люблю вас всех. Очень рада, что сижу с вами за одним столом и... рядом с Павлом Андреевичем. Рада выпить за вас.

И она лихо опорожнила рюмку.

Вдохновенно выпили все и опять навалились на закуски. Кутенцов с неожиданной громкостью припечатал вдруг к столу вилку и, уставившись перед собой, сказал:

— Нет, как вы себе хотите, а то, что мы сидим сейчас за одним столом, это... Это судьба.

— Павел Андреевич как-то сказал мне, — усмехнулась Валерия, — что не стоит слишком верить в судьбу. Всему и всегда есть истинная причина.

“Надо же... — мысленно удивился Велешев. — Запомнила...”

— Смотри где кроется причина, — сказал Отроченков, — в самом человеке или где-нибудь выше. Второе, по-моему, предпочтительней.

К этой фразе никто ничего не добавил, и некоторое время насыщались все молча. Прервал молчание опять же Кутенцов.

— Фадееч, — сказал он, — вот смотрю я на тебя и думаю: с какой стати ты продолжишь заниматься врачебной практикой? Тебе бы самое время пойти в политику.

Наверно, в травматологе начала проявляться его знаменитая непредсказуемость.

— В политику? — удивленно воззрился на него Отроченков. — Окстись, Миша. С какой стати я туда полезу?

— Да у тебя же внушительная внешность, ты смотришься. Ты выглядишь именно как политический лев. Ты мудр, дипломатичен, ты попер бы — ого-го... Уж губернаторское-то кресло наверняка бы выиграл.

— Какое, к чертям, кресло? Что это тебе в голову взбрело? Не желаю я плавать в мутных водах современности.

— Неужели тебя удовлетворяет одна только возня с большими человеческими нервами, и не хочется ничего большего?

— Моя работа меня вполне удовлетворяет, но хочется и большего. Я думаю, что жить надо для чего-то главного, а не пылить, задыхаясь от собственной пыли.

— И в чем же, по-вашему, заключается это главное? — спросил Лёнька.

— Да, наверное, в том, чтобы научиться чувствовать великую тайну мира и преклоняться перед ней. И свою связь со всем сущим в этом мире осознавать с изумлением.

— Я, конечно, понимаю вас, Аркадий Фадеевич... — сказала Валерия. — Но ведь жизнь сейчас диктует такие условия, когда главное — устоять на ногах, не оказаться в униженных и оскорбленных...

— Понимаю и я вас, Валерия Сергеевна... — вздохнул Отроченков. — Вы, наверное, хотели еще добавить к этому, что в первую очередь человек должен быть хорошо обеспечен материально, что только тогда он становится по-настоящему свободным. И только тогда он может спокойно приобщаться к великой тайне мира.

— Именно так. И, по-моему, зря вы пронизируете. Разве плохо, если человеку всего хватает, если он богат?

— Да нет, голубушка, это отнюдь неплохо при условии, если у человека хватает силы не стать пленником материальных ценностей. А если богатство овладевает его духом, то он теряет свою свободу. Он тогда уже не обладатель, а обладаемый, то есть раб. И до великой тайны мира ему уже

нет никакого дела, потому что он мертвеет духовно. Такой человек начинает жить раздвоенно, неискренне. Такому человеку не стоит доверять, на него нельзя положиться. Он живет обманом и самообманом и постоянно мечется на грани предательства.

— Вы как-то так судите... — несколько растерялась Валерия. — А ведь среди нынешних богатых есть очень даже приличные люди — вполне порядочные, обязательные.

— Охотно верю. А сколько таких, которые пребывают в плену сногшибательной пошлости, наслаждаются грязью?

— Конечно, хватает и таких. Уж я-то от них, при моей профессии, успела натерпеться.

— И что же у вас за профессия, если не секрет? — спросил Кутенцов.

— Возглавляю рекламное агентство. Дело иметь приходится со всякими. И опыт подсказывает мне, что будущее-то все-таки за людьми просвещенными, умеющими смело воплощать в жизнь проекты, которые на пользу отнюдь не только самим себе.

— Вполне возможно, Валерия Сергеевна, — сказал Отроченков. — Но сейчас ведь все возманили себя просвещенными и смелыми. А то, что творится вокруг, почему-то несет на себе явный отпечаток скудоумия и трусости. Впрочем, это мы, кажется, уже о другом.

— Некоторых богатых людей, — возвращая разговор в прежнее русло, сказал Велешев, — наверное, надо просто пожалеть от души.

— Это каких же? — спросила Валерия.

— В первую очередь тех, которые считают, что все можно купить. Уже одна только эта мысль говорит о том, что такой человек жестоко обманывает самого себя и никогда не будет по-настоящему счастлив. Ведь самое лучшее на белом свете не продается.

— За это, по-моему, очень даже стоит выпить, — сказал Отроченков. — Давайте выпьем за все то, что на белом свете не продается. Ну как, Миша, — усмехнулся он, обращаясь к Кутенцову, — устраивает тебя такая политика?

— Фадеич... — приложил тот руки к груди, — я же не хотел сказать ничего плохого, от чистого сердца выдвинул тебе предложение пойти в политику. Ведь ты у нас такой...

— Мне выдвинул предложение, а что же себя-то проморгал?

— Как это проморгал, в каком смысле?

— Да не мне, а тебе в политику-то идти надо. Ты со своими загибами и завихрениями такого успеха добьешься, что у всех глаза на лоб повылезут. А то ведь они там беднеть стали на это дело — завихрения и загибы у них уже иссякать начали, становится неинтересно.

— Какой мне там успех, что ты, благословенный наш...

— Ну, хотя бы толстеньким станешь, гладеньким. А то состоишь из одной арматуры, похож на рентгеновский снимок.

— Пусть лучше буду похож на рентгеновский снимок. Нет, Фадеич, я тоже за то, что на белом свете не продается.

— Давайте выпьем за это, — сказал Лёнька.

— Отлично, — констатировал Отроченков. — Прекрасен наш союз. А как вы насчет такого тоста, Валерия Сергеевна?

— Полностью солидарна, Аркадий Фадеевич.

— Ну и давайте вознесемся во имя этого. Наливай, Паша.

Дружно “вознеслись” и не менее дружно налегли опять на закуски.

— Аркадий Фадеевич, — с заметным волнением в голосе заговорил вдруг Лёнька, — а, может, родительница-то моя в чем-то и права?

— Что ты имеешь в виду, Лёня?

— Ведь в самом деле — при такой бардачной жизни только и думаешь, как бы устоять на ногах. Вранье на вранье, дурь на дури, подлость на подлости. Сплошной торг, сплошная купля-продажа, и заниматься приходится совсем не тем, чем хочется. Стоит чуть зазеваться — и ты уже лох, тебя уже кинули. И как за всем этим почувствовать... Ну... то, что вы назвали великой тайной мира? Вы не думайте, я с вами согласен — это главное. Да только вот как разглядеть в такой свистопляске то, что не продается?

— Конечно, Лёня... — положил вилку Отроченков. — Пыль жизни сильно засоряет глаза. Но стоит ли смотреть только в ту сторону, откуда несет столбы пыли? Разумеется, хочешь — не хочешь, а приходится туда смотреть. То есть отдавать себе отчет в том, что у многих сегодня сердце работает только на себя, а иные и вовсе живут в режиме активного бессердечия. Это видеть необходимо, поскольку рядом с такими людьми постоянно рискуешь провалиться в какую-нибудь глубокую яму. Но, знаешь ли... Иногда стоит лишь увидеть парящую высоко в небе птицу, и вся эта мерзопакостная пыль сразу же рассеивается, отступает душевная боль. И, по-моему, чем страшнее, безрадостнее жизнь, тем зорче надо присматриваться ко всему вечному, истинному и прекрасному в этом мире. Многие пытаются спастись пошлыми наслаждениями и платными удовольствиями, да разве в трясине спасешься? Спастись можно, если постоянно сосредоточивать себя на том, что возвышает душу, дает ей особую глубину и крепость.

— Я бы рада сосредоточить себя на этом, — сказала Валерия, — если бы не куча всяких домашних дел, необходимых встреч, мероприятий и бесконечной возни над проектами.

— Вот и у меня что-то никак не получается, — развел руками Лёнка. — Именно в том-то и вся заморочка.

— А мне, — подхватил травматолог, — привезут какого-нибудь мужика со сломанной ногой или свернутой челюстью, у которого изо рта прет чуть ли не керосином и без конца изрыгается трехэтажный мат, и где уж тут думать о вечном да прекрасном. Управишься с ним, только вознамеришься помыслить хоть немного о небе и птицах — глядишь, уже волокут изморожанную мужем дамочку. Потом еще нечто подобное, и так-то вот пятый, десятый, двадцатый... Но вот прихожу я после дежурства домой. Начинаю общаться с дочкой, и хорошо мне, радостно — вот-вот потекут мысли о вечном. Но тут обязательно вмешается жена — дескать, пора девочке заняться уроками, а ты отвлекаешь. Потом заставляет ее играть на скрипке — учить уроки еще и для музыкальной школы. Дочка пикирует, а меня от этой музыки охватывает такая дикая тоска, что впору подвывать волком. Подойду к окну, гляну на небо — Господи, где ты там? Помыкаюсь, помыкаюсь — и к телевизору. Сижку, смотрю и ненавижу в нем всех, потому что все врут, притворяются и выпендриваются. И в душе только одно: ну хоть бы кто-нибудь подошел, положил руку на плечо и сказал: “Чего это ты, брат, расклеился-то? День простояли, как-нибудь и ночь продержимся!” Глядь — заваливается в квартиру полупьяный сосед и отвратительнейшим голосом начинает жаловаться на несправедливость, которую кто-то где-то с ним утворил. А мне и слушать, и смотреть-то на него тошно. “Послать бы, — думаю, — тебя ко всем чертям или даже съездить по морде...” Ан нет, зажмешь в себе все и сидишь, терпишь... Ну и как же, Фадеич, сосредоточить мне себя на том, что возвышает душу?

— Мне кажется, Аркадий Фадеевич, — сказал Велешев, — что, призывая вглядываться во все прекрасное, священное и вечное, ты упустил один очень важный момент.

— Это какой же?

— Да ведь зрение, которым можно проникать сквозь горькую пыль жизни, — это зрение, по-моему, так просто человеку не дается.

— Хм... А ну-ка проясни.

— Я думаю, прежде необходимо долго и мучительно вглядываться в самого себя. И делать это человек обычно начинает только тогда, когда сильно страдает. — Во время любой неурядицы, от которой больно, лучше всего — суметь подшутить над собой, преобразить свою душевную боль в улыбку. И сделать это так, чтобы и другие смеялись, не подозревая о глубине твоей боли.

— Вы прямо-таки провидец, Аркадий Фадеевич. Я все больше склонна именно к этому методу.

— Ну, вот и отлично. А в провидцы-то — где уж мне. Я обыкновенный созерцатель.

— А знаете, братцы... — сказал Велешев. — Ведь лето кончается. И ка-

кой теплый и тихий вечер... Не собрать ли нам в корзину то, что у нас тут еще осталось, да и расположиться где-нибудь у реки, на высоком месте.

— Ура! — захолопала в ладоши Валерия. — Прекрасная идея, и доктор Велешев гений! Лёнька, ты нас повезешь.

Это предложение вдохновило всех, и без промедления было собрано, уложено в багажник машины все необходимое. Валерия устроилась на заднем сиденье между Отроченковым и Кутенцовым, которые ужались до предела, чтобы ей было как можно свободнее, а Велешев сидел рядом с Лёнькой — показывал ему дорогу.

Место выбрали на высоком мысу — от него река делала плавный поворот к Овражной Заводе. Отсюда хорошо были видны золотистые, с темной зеленой куп вековые сосны, которые возвышались над заводью, и яркая веселая луговина, полого и ровно ниспадающая к березам, стоящим у самой воды.

Вокруг не было ни души, и все покоилось в полном безветрии. Стояли поодаль несколько пожилых берез, и пряди их ветвей, в которых уже начала проступать желтизна, свисали неподвижно — не шевелился ни один листочек. Казалось, что деревья думают какую-то грустноватую, но светлую думу.

Зеркально текла река, лишь кое-где расхотелись на ее глади крути от гуляющей рыбы. Противоположный берег высидя над рекою живой стеной — там от низа до верха крутого склона прочно обосновались ольхи, осины, ветлы, березы, множество самой разнообразной кустарниковой растительности. Все это плотно смыкалось между собой и уже едва заметно являло приметы грядущей осени.

А над этой живой стеной толпились в далекой таинственной вышине причудливые груды белоснежных облаков. Подкрашенные понизу в розоватый цвет уходящим солнцем, они казались сказочными волшебными горами. В их гордые вершины, фигурные выступы и глубокие провалы хотелось вглядываться бесконечно.

— Ну что, — сказал Отроченков, — по-моему, никакая пыль жизни глаза нам тут не засоряет. Очень хорошо все видно. Или, может, кому-нибудь бинокль нужен?

Все молчали.

Глава двадцать вторая

Когда Велешев остался в своем доме один, тишина оглушила его, и, пытаясь свыкнуться с ней, не находя себе места, он, словно потерянный, слонялся некоторое время из комнаты в комнату. Потом понял вдруг, почему тишина кажется столь оглушительной — на кухне молчали материнские ходики. “Ну вот, — усмехнулся он, — даже время остановилось...” Такое случалось иногда со старыми часами — они требовали смазки. И Велешев обрадовался этому несложному делу. Нашупал на шкафу куриное перо, которым пользовался в подобных случаях уже не раз, обмакнул его в бутылку с машинным маслом и через отверстия для цепочки и маятника тщательно смазал механизм. Подтянул гирю, пустил маятник, и ходики четко затикали.

И от этого привычного звука ему стало намного легче. Он взял книгу, устроился на диване и попробовал читать. В чеховском рассказе описывалась такая серая и тусклая жизнь, что ему стало не по себе. Он отложил книгу и вышел во двор. Тут цвели белые и розовые флоксы, посаженные когда-то женой, и доцветал высокий куст дельфиниума. На нем усердно работало множество небольших, наверное, нового поколения, шмельков. К флоксам они не притрагивались, а в фиолетово-белые ушки цветков дельфиниума ныряли со сложенными крылышками, скрывались там на мгновение — похоже, находили что-то очень нужное. Велешев подошел почти вплотную и минуты две наблюдал, как самозабвенно, не обращая внимания ни на него, ни на что-либо вообще, трудятся шмели.

— Вам хорошо... — пробормотал он, отчего-то вдруг позавидовав этим маленьким загадочным существам.

Потом Велешев сел на скамейку и стал смотреть на облака. Они плыли неспешно — пышные, белые, иные чуть сероватые, и, провожая их взглядом, он ощущал, как рассеивается душевный сумрак и понемногу овладевает душой спасительный покой безмыслия.

От этого созерцания отвлёк его кот Федор — он вскарабкался с улицы на забор, посидел на нем немного, обозревая двор, потом соскользнул вниз и с хмурым видом прошествовал к хозяину, запрыгнув на скамейку, уселся рядом.

— Ну вот, Федя, — со вздохом погладил его Велешев, — опять мы с тобой одни. Пустынно, брат... А я, видать, и в самом деле тебя недооценивал. Ты уж меня прости.

Медленно тянулся день, и никак не находил в нем для себя Велешев ни места, ни дела. Валерия обещала позвонить по приезду, но звонка все не было. Она позвонила лишь вечером, и Велешев схватил трубку с такой поспешностью, что едва не смел на пол телефонный аппарат.

— Ты представляешь, — сказала Валерия, — я подрыхла все на свете. В дороге меня так разморило, что, когда приехали, решила прикорнуть минут хоть на десять. И только вот проснулась. Здорово, да?

— Здорово, — подтвердил Велешев.

— Ну а ты как там?

— Пустовато в доме. Самого себя никак в нем не найду.

— Это куда же ты делся-то? — залилась она смехом.

— Да теперь-то вот обнаружил, что сижу и говорю с тобой.

— Ты уж давай-ка больше не теряйся. А то, чего доброго, пропадешь совсем, и мне без тебя будет плохо.

— Серьезно?

— Серьезно, Паша.

После этого разговора в душе у него как-то сразу уравнилось все, и пустота вокруг больше уже не ощущалась. Появилось другое, щемяще-радостное ощущение — будто из его сердца тянется туда, к Валерии, тонкая невидимая нить.

...В больничные свои дела Велешев углубился с новой окрыляющей отрадой, и складывалось у него тут все как нельзя лучше. За годы работы в Поречье он успел неплохо изучить своих пациентов, особенно тех, которые обращались за врачебной помощью постоянно. По каждому из них он вел свои особые заметки, и поставить такому больному верный диагноз не составляло для него особого труда. Но теперь Велешев ощутил в себе словно бы новую какую-то интуицию, которая помогала ему безошибочно определить характер болезни даже у человека, пришедшего в больницу впервые. Открылось как бы некое второе зрение, позволяющее проникать глубоко в человеческий организм и проявлять предельную точность в выборе лечебных средств. “Опыт, конечно... — думал Велешев. — Не тот, прежний, а теперь уже новый врачебный опыт. Но, кажется, сопутствует этому опыту еще что-то. Вдохновение, что ли, какое-то...”

Неожиданная удача выпала и на хозяйственном фронте. Близилась выборы главы областной администрации, и в район приехал губернатор. Он знакомился с “объектами”, встречался с людьми. Попала в число таких объектов и Пореченская больница. Губернатор, крепкий, плотный, с казачьими усами и острым взглядом, сопровождаемый многочисленной свитой, быстро, но цепко осмотрел в больнице все, поговорил с больными, с врачами и медсестрами.

— Слышал о вас много хорошего, — сказал он Велешеву. — Знаю о прошлых заслугах, а вашу нынешнюю работу теперь вот и сам вижу. Одно могу сказать: спасибо, Павел Андреевич.

— От души рад, что вам у нас понравилось, — ответил Велешев. — Отношу вашу благодарность ко всему персоналу больницы.

— Молодцы, ей-Богу молодцы. А может, нам во все сельские больницы докторов наук посадить? — обвел губернатор свою свиту ироническим взглядом. — Их ведь в областном центре тьма-тьмушая — небось, только мешают друг другу.

Все сдержанно засмеялись.

— А все-таки как же это вы решились на такой подвиг? — улыбнулся он Велешеву.

— Тут моя родина. Это, наверно, и решило все.

— Хм... Каждый бы так думал о своей родине. А почему не просите ничего? Наверняка ведь есть какие-то нужды — без них сейчас ни одно хозяйство не обходится.

— Если можно, Виктор Афанасьевич... Спецмашина у нас износилась совсем — получили ее, когда я сюда работать пришел. И оборудование в зубо-врачебном кабинете устарело окончательно. Хотелось бы обзавестись новым, да пока вот не получается...

— Запиши, — сурово кивнул губернатор своему помощнику. — И машину, и новую технику для зубного кабинета в эту больницу — безотлагательно. Людям, которые работают так хорошо, грех не помочь.

Этой “манне небесной” радовались потом не только Велешев со своим больничным персоналом, но и все пореченцы.

После отъезда Валерии он постоянно ощущал этакое повышенное внимание к себе — и в больнице, среди своих, и за ее пределами. Чувствовалось, что всех томит любопытство: так женился, в конце концов, главный врач или нет? Городская пациентка уехала, опять он один, и что же это у них такое было? Неужто лишь временные “шуры-муры”? Или все только еще решается? Гуляли-то под ручку принародно, будто все у них уже решено...

Окружающие конечно же подмечали, что доктор Велешев подтянут как-то необыкновенно, всегда в хорошем настроении, с больными шутит, медсестер весело подбадривает, и на этом основании, похоже, взбрело кому-то в голову: дескать, наверное, налаживается к ней туда. Она-то, городская, жить сюда вряд ли поедет — у нее там работа какая-то очень видная и выгодная, у нее там сын, квартира, а здесь что ей делать? Нет, такая сюда не поедет. А у доктора в городе тоже есть квартира, ну и, как говорится, сам Бог велел — сколько же можно одному-то маяться в нашей беспросветной глуши? Потому, видать, и сияет весь, что туда к ней лыжи наострил. А с чего же еще ему сиять?..

И вскоре Велешев начал ощущать в отношениях людей к нему уже не просто любопытство, но и скрытое беспокойство. Въявь это беспокойство первой проявила медсестра Саша. Она в последнее время выглядела замкнутой, даже вроде бы несколько отстранившейся от всех. Когда Велешев разговаривал с ней, то казалось, что Саша не столько его слушает, сколько прислушивается к чему-то в самой себе. И в этой своей отрешенности была она, пожалуй, еще красивее, чем прежде. Лицо ее с правильными мягкими чертами сейчас особенно напоминало иконный лик — большие серые глаза, белки которых были тронуты голубизной, словно бы таили какую-то печальную и в то же время светлую думу.

Однако обязанности свои Саша по-прежнему выполняла безупречно, скорее даже с еще большей самоотдачей. И когда на смену приходила другая сестра, то хотя и шло все вроде бы вполне нормально, Велешеву тем не менее казалось, что как-то немного не так.

Однажды, когда он прооперировал с ее помощью больного и того отправили в палату, Саша спросила вдруг:

— Павел Андреевич, вы от нас уедете, да?

— С какой стати? — возрился на нее Велешев. — Никакой командировки пока вроде бы не предвидится.

— Я не про командировку. Говорят, что вы совсем...

— Кто говорит? Подать мне сюда этого тяпкина-ляпкина.

— А я и не верю никому. Просто решила убедиться.

— Да кому такое в голову-то взбрело? Как я могу бросить тут все? Ведь это выстрадаю. Выстрадаю и мною, и всеми нами... За кого же, в конце концов, вы меня принимаете?

— Простите, Павел Андреевич... — Сашины глаза наполнились радостными слезами. — Не обижайтесь ради Бога. Я ведь не поверила. А люди... мало ли что у них на уме...

И она вдруг обняла его, поцеловала в щеку. И, запламенев лицом, выбежала из операционной. Велешев некоторое время стоял как вкопанный, удивленно качая головой и ощущая на щеке мокрое от ее слез.

В тот же день и детский врач Вера Гавриловна, выбрав удобный момент, сильно смущаясь, заговорила с ним об этом.

— Павел Андреевич, извините... Я, конечно, может, слишком... Но... надоело слушать всякие суды-пересуды — то ли правду, то ли пустой бабьей треп... Душа не на месте, вот и отважилась узнать напрямую...

— Хочешь узнать, — упредил ее Велешев, — вправду ли я собираюсь бросить вас тут всех, рвануть на свое прежнее место жительства и успокоиться там под крылом Валерии Сергеевны? Нет, Вера, ничего подобного и в уме не веду. Слишком много всякого-разного довелось нам с тобой здесь пережить, чтобы так легко расстаться. Можешь передать своему Николаю, что моего позорного бегства он не дожидется.

— Серьезно? — распахнула она глаза во всю ширь. — Павел Андреевич, дорогой вы наш...

И, зарумянившись, тоже поцеловала его в щеку.

— Странный какой-то день, — усмехнулся Велешев. — Чего-то все целовать меня сегодня взялись...

— Ага, значит, я не первая?

— Да боюсь, что и не последняя. Но ты-то, гляжу, всякую осторожность потеряла. А если бы увидел кто-нибудь и донес Николаю?

— Николай за ум взялся. С того раза и вспоминать-то об этом стыдится, на глаза вам боится показываться.

— Слава тебе, Господи.

Слухи дошли и до сестры Велешева Антонины. Она пришла как-то вечером — тихая, потемневшая, и, когда посидели немного за чаем, поговорили о том о сем, спросила напряженно:

— Ты чего же молчишь-то?

— Да разве я молчу? Мы с тобой разговариваем.

— Все село судачит о том, что ты уезжаешь обратно, в город, а сестре, значит, и знать не положено?

— О-ой... — схватился за голову Велешев. — Ты вот лучше скажи мне: с чего, с какой такой искры они у вас тут возгораются, откуда берутся эти нелепые, идиотские, упрямые слухи? Я никуда не собираюсь, как жил, так и живу, а вокруг мелют и мелют Бог знает что...

— Значит, вранье?

— Самое натуральное.

— Господи... А я иду к тебе — ни жива, ни мертва.

— Ну уж теперь-то оживай давай и целуй меня скорей.

— Целовать?..

— А как же иначе? Меня все целуют, когда объясняю, что уезжать не собираюсь.

— Вон оно в чем дело... — наконец-то начала приходить в себя Тоня. — Все целуют, а я неужто хуже всех? Дай-ка я тебя, братца моего, в обе щеки...

И обняла, расцеловала его.

— Вот, вот... — бормотал Велешев. — Все по плану...

Потом Антонина спросила осторожно:

— А с Валерией Сергеевной-то... как же у вас?

— Да как было, так и есть.

— Мне почему-то кажется...

— Что тебе кажется?

— Жить она сюда вряд ли поедет.

— Вряд ли, — глядя в сторону, кивнул Велешев.

— И что же тогда получится? Получается, что опять ты ни в тех, ни в сех...

— Ну почему же? Будем дружить, встречаться. Сейчас постоянно звоним друг другу... разве плохо, если, кроме тебя, у меня теперь есть еще один близкий человек?

— Конечно, хорошо, это большое дело... — вздохнула Тоня. — А там, глядишь, что-нибудь и образуется...

— Ну вот! — с улыбкой подмигнул ей Велешев. — А то прямо уж сразу — “ни в тех, ни в сех”...

...С Валерией Велешев общался едва ль не каждый день — то он ей звонил, то она ему. Дел у нее на работе, судя по всему, было невпроворот — чувствовалось, какая она там разгоряченная, иной раз даже запыхавшаяся.

— Уфф! Выбрала вот минутку, чтоб расслабиться хоть немного, поболтать с тобой.

Но едва только начинался разговор, как кто-то там входил к ней, и Валерия, попросив Велешева подождать чуть-чуть, решительно наставляла этого кого-то или стремительно отчитывала. В телефонной трубке это было очень хорошо слышно.

— Вот так-то у нас, — возвращалась она к Велешеву. — Без няньки ни шагу. Ну, ты как там?

Велешев обрисовывал вкратце, как он тут, Валерия вроде бы слушала, задавала вопросы, но чувствовалось, что внимает она ему по большей части автоматически, не в силах отрешиться от своего делового настроения.

Он ей звонил чаще всего вечером, из дому. Дозвониться до Валерии раньше девяти часов было практически невозможно. У нее в городе имелось множество друзей, знакомых, партнеров по бизнесу, и вечерами она постоянно с кем-нибудь что-либо обговаривала, решала. Велешев быстро сориентировался, что звонить лучше часов в десять — в это время Валерия или читала лежа, или просто отдыхала. И эти вечерние разговоры получались у них наиболее душевными. Велешев чувствовал, что ей хорошо, и ему тоже было хорошо, особенно если Валерия смеялась над чем-нибудь. От ее своеобразного смеха у него в душе как-то удивительно уравнивалось все, становилось бесшабашно. И засыпал он потом умиротворенный спокойным крепким сном.

Однако так бывало не всегда. Иной раз он ощущал, что Валерия отчего-то напряжена, даже вроде бы раздражена чем-то и говорит с ним словно бы вынужденно. Это ее натуга мгновенно передавалась его нервам, и Велешев спрашивал:

— У тебя случилось что-нибудь?

— Откуда ты взял? — словно застигнутая врасплох, вспыхивала она. И тут же деланно смягчалась: — А-а, да так, мелочи тут всякие...

После такого разговора в душе у него оставался горьковатый осадок и спалось неважно. Валерия, правда, могла позвонить на другой же день и, как ни в чем не бывало, с ласковыми нотками в голосе, сказать:

— А я чего-то вот уже соскучилась. Вчера, наверное, была малость не в себе — ты уж извини...

— Ну вот еще... — радостно подпрыгивало у него в душе. — Нашла, за что извиняться...

И опять появлялось уверенное ощущение связующей его с ней светлой нити.

Бывало и так, что телефон Валерии не отвечал ни в десять часов вечера, ни в одиннадцать. Или отвечал Лёнька. Он неизменно был рад общению с Велешевым, участливо расспрашивал его о делах, с убийственной иронией рассказывал о своих, справлялся об Отроченкове и Кутенцове.

— А родительницы нет, — сообщал Лёнька. — Опять какое-то мероприятие, я точно не знаю. Скорее всего, объявится поздно.

И Велешеву потом совсем почти не спалось. “Какое такое мероприятие может быть среди ночи? — думал он с подмывающей сердце тревогой. — Что ты знаешь о ней? У нее там, похоже, столько всякого-разного, что ты, может, и занимаешь-то в ее жизни лишь какое-нибудь двадцатое место...” На работу он, не в силах справиться с душевной мутой, являлся хмурый, и это, кажется, замечали все — и ходить старались потише, и разговаривали чуть не шепотом.

Но вскоре звонила Валерия и, едва начав говорить, вдруг зевала в телефонную трубку так протяжно и смачно, как, наверное, не умел никто, кроме нее.

— Понимаешь, — радостно сообщала она, — совсем не выспалась.

— Я тебе звонил вчера...

— А я... оу-ыхх... — зевала она повторно, — была на презентации нового магазина у одного знакомого предпринимателя. Не пожадничал — такой банкетнице закатил... Ох, и встряхнулись же! Я наплясалась по уши — сейчас ноги болят. А заместителю мэра — ты представляешь? — заляпали салатом новый французский костюм. Нет, ты только представь: стоит заместитель мэра с обвисшими, как у моржа, усами, и весь в крабовом салате. Здорово, да?

— Здорово, — соглашался Велешев.

Валерия заливалась смехом, и всю тревожную муть в душе у Велешева мгновенно смывало радостной теплой волной.

Так прошло две недели, потом еще две, а встретиться им все никак не удавалось.

— Ох, как хочется закатиться к тебе... — сокрушалась Валерия. — Осень, красотища у вас там теперь невероятная. Аркадия Фадеевича, Анну Тимофеевну повидать хочется. Но нет, сейчас вряд ли — обступили меня тут горы всяких мусорных проблем... Может, ты сумеешь как-нибудь вырваться сюда?

— Возможно, — ответил Велешев. — Кажется, намечаются у меня там кое-какие дела.

(Окончание следует)